

Б И Б Л И О Т Е К А

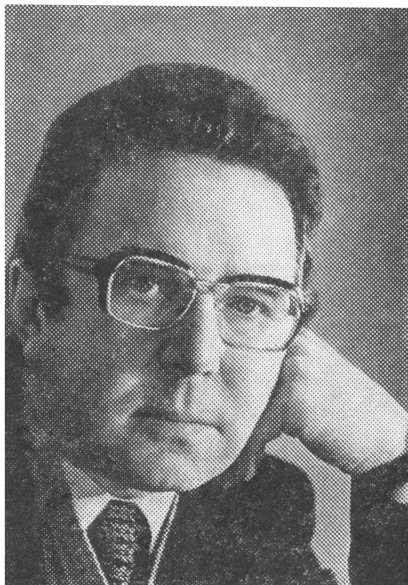
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 3

1981



Сергей ВЫСОЦКИЙ

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

РЕКИ ВАВИЛОНА

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 3

Сергей ВЫСОЦКИЙ

РЕКИ ВАВИЛОНА

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»

1981

Сергей ВЫСОЦКИЙ

Сергей Александрович Высоцкий родился в феврале 1931 года в Ленинграде. В 1941—1942 годах жил в блокадном городе. Осенью сорок второго эвакуировался через Ладогу. Три года провел в детском доме в селе Сива Пермской области. Вернулся в родной город, окончил Ленинградское арктическое училище, гидрометеорологическое отделение.

Учился в Ленинградском Государственном университете на юридическом факультете, потом на отделении журналистики Ленинградской Высшей партийной школы. Работал заместителем, потом редактором газеты «Смена». В 1963 году переехал в Москву. Работал ответственным секретарем журнала «Молодая гвардия», заместителем главного редактора «Комсомольской правды», главным редактором журнала «Человек и закон».

Член Союза писателей. Автор книг «Спроси зарю», «Смерть транзитного пассажира», «Наводнение», «Крутой поворот» и других. Недавно в издательстве «Современник» вышла его книга «Праздник перепутий». По его сценариям сняты художественные телефильмы «Три ненастных дня», «Крутой поворот». На «Ленфильме» закончены съемки художественного фильма «Пропащие среди живых».

В 1977 году за книгу «Наводнение» и в 1980 году за роман «Среда обитания» и повесть «Крутой поворот» получил премии Союза писателей СССР и МВД СССР.

ГОСТЬЯ

Когда почтальонша Катерина Ветрова постучала в дом Богунковых и подала Надежде Федоровне вместе с районной газетой телеграмму, старуха огорченно пробормотала:

— Ну вот, чуяло сердце, кака-нибудь неприятность будет!

— Да почему ж неприятность, тетя Надя? — засмеялась Катерина, но вид у нее был хитрющий.

— Хорошего-то откуда ждать?

Надежда Федоровна уже собралась было пойти с крыльца в дом, но почтальонша остановила ее.

— Теть Надь, вы телеграмму-то посмотрите...

— А тебе чего? — насторожилась Богункова. — Любопытство заело?

— Да нет, мне без интереса! — отвела глаза Катерина. — Только вам ее не прочитать...

— Еще чего! — рассердилась старуха. — Ты одна, что ль, грамотна? — Но телеграмму развернула и, отстранив ее на вытянутой руке подальше от глаз, собралась читать. Минуты две она стояла молча, беззвучно шевеля губами. Наконец сказала, обиженно поджав губы: — Без очков не разгляжу... Ты иди, иди, Катька, разноси свои газетки, я дома очки напялю, как-нибудь разберу.

— Ой, тетя Надечка! — улыбнулась Катерина, сдерживаясь, чтобы не раскохотаться. — Там ведь не по-русски написано, латынь. Из Италии телеграмма, из Неаполя. От вашей Веры.

Надежда Федоровна охнула, и строгое лицо ее сделалось сразу добрым, беззащитным. Только глаза оставались тревожными.

— Да не томи ты, Катька! Аль что плохое приключилось? — Старуха отступила назад, нащупала рукой лавочку и села, не спуская глаз с почтальонши. — Чуяла, ведь чуяла я: что-то будет. Вчера так и глаз ночью не сомкнула... Ты сядь, сядь, Катерина.

— Да все хорошо, тетя Надечка. Чего вы волнуетесь? Едет к вам Вера с мужем и сыном... Итальянка ваша... — Надежда Федоровна слушала девушку, глядя на нее повлажневшими глазами, чуть приоткрыв рот, и все кивала, кивала головой. — Телеграмма-то пришла рано-рано, — продолжала свой рассказ почтальонша. —

Международная. Буквы латинские, а слова русские. Это у нас теперь часто бывает. В прошлом месяце зайцевскому дяде Мише Барашкину из Венгрии прислали. Сын у него там работает. А на Дружную горку, на завод — так туда чуть не каждый месяц идут. Мы теперь привыкли...

— Да ты телеграмму-то прочти,— взмолилась Надежда Федоровна.— Когда едет-то?

— Ой, что же это я, дуруха! — с наигранной озабоченностью спохватилась Катерина и выхватила из рук Богунковой телеграмму.— Международная,— прочла она торжественно.— Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Замостье, Богунковой Надежде Федоровне. Дорогая мамочка...

— Дорогая мамочка? — перебила старуха Катерину.

— Дорогая мамочка. Так и написано.

Богункова удовлетворенно кивнула.

— Буду дома мужем сыном пятнадцатого августа,— продолжала читать Катерина.— Целую Вера.

— Буду дома...— задумчиво повторила старуха и обвела глазами чуть покосившееся, старенькое крыльцо. Вздохнула. Спросила, кивнув на телеграмму:— Ничего там боле нет?

— Нет, тетя Надя. Я все прочтала.

Надежда Федоровна вдруг встрепенулась:

— Ватюшки, пятнадцатого! А ношень-то какое, Катерина? Четырнадцатое? Четырнадцатое ведь, девка! Верка-то с мужиком со своим едет, не одна, а мы тут лясы точим...

— Я побежала...— Почтальонша положила телеграмму на лавочку, рядом со старухой.

— Беги, дочка...— думая уже о чем-то своем, кивнула Богункова и поднялась со скамейки.

— А можно, я взгляну, тетя Надя? Когда они приедут?

— Приходи, приходи!

Надежда Федоровна вдруг улыбнулась каким-то своим затаенным мыслям. И пока почтальонша шла через сад, старуха все стояла на крыльце и улыбалась, глядя куда-то вдаль. Глухо стукнула за Катериной калитка. Надежда Федоровна вздрогнула, взяла трясущейся рукой с лавочки телеграмму и пошла в дом.

Затворив за собой дверь, она некоторое время стояла посреди кухни, словно не знала, что же ей делать...

От волнения мысли разбегались, кружилась голова. Верка, ее дочь, с которой не виделась они с войны, едет с мужем и сыном! Сколько лет промелькнуло, сколько воды утекло... Думала: уж не судьба свидеться, свыклась, что потеряла Верку, только что числила в живых. Раз в три года придет письмо и ладно. Слава богу, жива, значит. А какая она, ее младшенькая, Надежда Федоровна и думать перестала. На одно надеялась — на похороны-то придет! И вот телеграмма...

«Да чего же я стою столбом? — вдруг спохватилась старуха. — Стыдоба». Она с тревогой огляделась. В кухне и правда было не прибрано. Накануне шинковала до ночи капусту, сняла половики, пол был затоптан, усыпан капустной крошкой, на столе горкой стояла невымытая посуда.

— Ива-ан! Ива-ан! — позвала она зятя. Тот отсыпался после ночной смены.

Иван не отзывался. Надежда Федоровна пошла в спальню.

— Ванюшка, проснись!

— Чего там, мам, случилось? — не открывая глаз, сонным голосом спросил Иван.

— Верка завтра приезжает! — В голосе у Надежды Федоровны чувствовалось нетерпение. — С мужем и с сыном. Телеграмму вот Катерина принесла.

— Верка-итальянка? — Иван все еще не открывал глаз, но в голосе у него появилась заинтересованность.

— Да проснись ты, козел! В доме-то пусто. Грязь, ровно в хлеву, — рассердилась старуха.

Иван живо вскочил.

— Где телеграмма?

— Тут на иностранном, — протягивая зятю телеграмму, сказала Надежда Федоровна. — Да Катерина мне прочла.

— А в котором часу приезжает?

Старуха пожала плечами:

— Катерина не сказывала...

Иван засмеялся:

— Чудно написано: буквы иностранные, а слова наши, можно разобрать...

— А ты будто понимаешь?

— Чего тут понимать-то? Все как есть прочитал.

— Как там она мне пишет? — вдруг хитро прищурившись, спросила Надежда Федоровна.

— Богунковой Надежде Федоровне, — прочел Иван. — Чего тут разбирать. Все понятно.

— А дальше?

— Дорогая мамочка...

— Вот-вот... Кумекаешь, — удовлетворенно прошептала старуха. И тут же сказала строго: — Только неча расслаживаться. И в лавку бежать надо и Настю со скотного вызвать. — Настя была старшей дочерью Надежды Федоровны, женой Ивана.

— На Сиверскую в магазин поеду и к Насте заверну, — сказал Иван. — Я счас живо мотоцикл выведу.

— Чего на Сиверскую, чего на Сиверскую? — подозрительно посмотрела старуха на зятя. — Сегодня же рыбный четверг. Купишь там кукиш.

Надежда Федоровна почему-то была уверена, что у Ивана на Сивирской живет зазноба — уж больно любил он туда ездить.

— На Дружной горке и в обычный день ничего путного не купишь. А на Сиверской, в курортторе, всегда есть чем разжиться.

Старуха только рукой махнула: делай, мол, что хочешь...

— А чего они, итальянцы, едят-то? — одеваясь, словно бы сам себе задал вопрос Иван.— Их ведь чем попало кормить не будешь. Картошкой, например. Или щами. Верка ваша и та небось от деревенской пищи отвыкла?

— Ничего, поест и щей,— сказала Надежда Федоровна, но в голосе ее Иван уловил озабоченность.

— Я вот читал, что итальянцы все макаронники. Макают пустые макароны в красный соус и лопают «за будь здоров».

— Да, будут они тебе пустые макароны есть!— не согласилась старуха.— Мне твоего Мишку раз в неделю не заставить тарелку этих макарон проглотить.

— Правда, мама,— согласился Иван.— Они небось макароны по-флотски едят, с мясом. Но лучше бы поточнее узнать. Может, к Павлу Мохову в школу съездить? Он географию преподает — должен все знать.

— Ты магазин не прозевай, балабол!

— Ох, мама, придумал я, у кого спросить!— обрадованно сказал Иван.— У Гриши Лоски. Он же почти итальянец, хоть и нашенький.

— С ним ты говоришь, с ним ты говоришь!— сердясь, закивала головой Надежда Федоровна.— Да только что про бутылочку да про самогон...

Отец Григория Лоски, пленный итальянец, добирался в Петроград после первой мировой войны да и осел в Замостье, прельстившись хорошей охотой и одной замостской красоткой. Умер он еще перед Великой Отечественной войной, оставив двух сыновей — Григория и Виктора. Виктор был инженером, работал в городе, наезжал редко. Григорий варил стекло на Дружной горке и славился веселым нравом и любовью к выпивке. Оба брата были женаты на русских, а по-итальянски не знали ни единого слова.

Хлопнула дверь, и в кухню влетела запыхавшаяся Настя. Крикнула:

— Мама, Иван!

Увидев мать, бросилась к ней, обняла.

— Верка едет... Неужто правда?— и всхлипнула.

— Едет, едет.— Мать ласково провела коричневой, сухой ладонью по Настиным волосам и легонько оттолкнула.— Да будет тебе, делом надо заняться. Твой вон в Сиверскую опять собравшись. Будто на Дружной магазина нет.

— Я ему соберусь!— Настя обернулась, ища глазами мужа, но его уже и след простыл.

— А, пускай хоть куда едет...— вздохнула она.

— Ты откуда узнала-то?— спросила мать.— Почтальонка сказала?

Настя кивнула.

— Ты Ивана-то останови. Чего он понесется абы что покупать. Подумать надо. Завтра народу много соберется. Аверьянычи приедут, Вавилкины...— Она задумалась.— Всех рази сочтешь? Небось, и Пашка Мохов прискачет. Как-никак женихался с Веркой.

— Да что ты, мама! Чего помнишь. Когда это было-то?!— удивилась Анастасия.

— Попомни мое слово,— вздохнула мать.— Что-то у меня сердце разболелось... Накапай мне этого самого...

— Корвалолу, что ли?

— Ну да. Назовут лекарство, не приведи господь. Язык не поворачивается...— ворчала Надежда Федоровна.— Валокордин научилась выговаривать, а его уж нету. А как хорошо помогал!

Настя принесла из спальни рюмку с лекарством. Дала матери. Та приняла ее дрожащей рукой, приюхалась:

— И пахнет по-другому. Ты Ванюшку-то не пропусти, уедет ведь!— сказала строго.

Анастасия привела мужа, и они долго сидели в кухне, прикидывая, чего и сколько купить, спорили. Матери наконец надоело слушать их перебранку.

— Ну что за наказание божье!— рассердилась она.— Ведь так люди на слова изойдут, а дела никакого. Досидите тут до вечера — так и хлеба не купите...

Иван поднялся, отыскал на печке большую кошелку.

— Пошел я, пожалуй...

— Иди, иди, а то и правда опоздаешь,— напутствовала мужа Настя. И как-то уж очень быстро юркнула в комнату.

— Да, мама,— обернувшись с порога, сказал Иван,— вы бы нам деньжат...— Голос его звучал ненатурально бодро.

— Деньжат?— удивилась Надежда Федоровна.— Ты ж получку третьего дня получил.

Иван вздохнул.

— Так ведь и расходы немалые...

Надежда Федоровна смотрела на зятя с подозрением.

— Ну что вы, мама, тут никакой получки не хватит.— Иван выглядел смущенным.— Самогон на столе не поставишь? Да и водки много неудобно. Значит, вина хорошего надо. Портвейну. А сколько его пойдет, этого портвейну? Почитай, бутылок сорок купить придется.— Он загнул указательный палец на руке.

— Сколько бутылок?— высунулась из горницы Настасья, во время разговора о деньгах предпочитавшая не попадаться матери на глаза.

— Так и народу, слава богу, придет...— еще больше смущаясь, сказал Иван.— И не один же день Верка со своим мужиком гостить у нас будет. А итальянцы портвейн как воду употребляют. Бутылок-то тридцать надо взять?

— Небось, не все итальянцы, как твой Лоска, зюзят...— пробормотала Надежда Федоровна. И твердо добавила:— Денег не дам. Умру — ведь не на что прилично похоронить будет.

Уже три года она откладывала пенсию в двадцать три рубля на свои похороны. И ни копейки не отдавала в общий котел. «Похороните хоть как человека, с отпеванием да с батюшкой на кладбище,— говорила Надежда Федоровна родственникам.— И по деревне пусть с оркестром несут. И убогим четвертой чтобы был».

Иван вздохнул. Потом подошел к дверям в горницу и спросил:

— Насть, чего делать-то?

Жена не отозвалась.

— Ну ладно, я, пожалуй, к тетке Маше зайду. Стрельну у нее до полочки...— Так и не получив ответа, Иван уже собрался уходить, как его остановила теща.

— Чегой-то ты надумал к тетке Маше идти побираться? Стыда потом не оберешься...

— Так у кого ж еще полсотни сейчас перехватишь?

— Тетка Маша твоя денег даст да на всю деревню ославит. И будет еще полгода в гости ходить... На даровое угощеньице.

Тетка Маша, дальняя родственница Богунковых, слыла в деревне первой сплетницей, и Надежда Федоровна сильно недолюбливала ее.

— Ты погоди, погоди!— Заметив, что Иван собрался уходить, старуха поднялась с табуретки и, ворча что-то себе под нос, ушла в комнату.

Иван понимающе улыбнулся и лихо почесал себе затылок.

Вернувшись, Надежда Федоровна сунула в руки зятю деньги.

— Чтоб с полочки вернул.

— Ну а как же, мама! С процентами. Специально на Сиверскую за пирожными сгоняю...

— Ладно, ладно, проживу и без пирожных,— ворчала она, но голос у нее был отмякший, довольный.— Ты бы лучше на водку меньше пускал.

Весь день прошел в хлопотах. Мыли полы, меняли занавески на окнах, трясли половики. Иван успел съездить и на Сиверскую и на Дружную горку. После каждой поездки радостно докладывал о покупках. Особенно гордился тем, что достал свиных ножек для холодца. С Сиверской он позвонил в аэропорт, узнал, что самолет из Рима прилетает в пятнадцать часов. Надежда Федоровна вздохнула с облегчением.

— Слава богу, еще есть время прибраться...

Слух о том, что к Богунковым приезжает из Италии дочка, разошелся по деревне в момент. Почтальонша Катерина Ветрова постаралась. То и дело в дом наведывались односельчане. Подолгу сидели в кухне. Расспрашивали, хотели знать подробности: насовсем или только в гости едет Верка-итальянка, одна ли, с семьей.

Надежда Федоровна сердилась:

— Ну что за народ такой! И лезут и лезут. Видют ведь — не до них! Все Катька растрезвонила, легковуха!

До поздней ночи они с дочерью стряпали. Варили студень, картошку и овощи для винегрета, отмачивали в молоке соленущие селедки. Иван, отработавший в ночь и умаявшийся за день, давно спал.

Когда последнее дело был сделано — студень разлит по тарелкам и поставлен в кладовку, на холод — и мать с дочерью, усталые, но довольные, отправились спать, Настя спросила:

— Мам, а вдруг Вера останется? Вот бы хорошо, а? Не век же ей там вековать?

Надежда Федоровна сидела на кровати, распускала на ночь волосы, белые до единой волосинки, но еще очень густые и длинные. Лицо у нее было отрешенное.

— Ну, мамусь! Чего молчишь? — Настя села на кровати рядом с матерью и, прижавшись к ней, обняла за худенькие плечи. Подумала: «Какая ж мать у нас старенькая да маленькая!»

— Чего ж говорить-то, — задумчиво прошептала Надежда Федоровна. — Чего говорить... Кабы от меня это зависело... — Она вздохнула. — Когда дети рядом — и умирать спокойнее.

— Ма-ама-а, — с упреком посмотрела на старуху Анастасия.

— Ну что «мама»? — без улыбки сказала Надежда Федоровна. — Годы-то мои давно подошли. Пока по дому турюсь, все вроде ничего, а как слягу... Да ладно, — тут же строго оборвала она себя. — Не к ночи разговор. Болтаем попусту. Господь знает, когда прибрать.

И уже когда погасили свет и улеглись, старуха сказала:

— Мужика-то своего она попервости хвалила в письмах. Любопытно узнать, как они нынче живут?

На следующий день Иван с Анастасией с утра уехали на аэродром: Иван — на мотоцикле, а Настя — на электричке.

— Замерзну я на твоём драндулете, — сказала она мужу. — Да и прическу ветром растреплет.

В шумном зале нового аэровокзала они сначала немного растерялись. Редко удавалось им выбираться из своего Замостья. Только в Сиверскую и ездили. То на рынок, то просто в магазин. В Ленинград же Богунковы выбирались не чаще двух раз в году. Нынче были в апреле, купали новый телевизор — старый, «Рекорд», совсем вышел из строя. А в аэропорту им довелось побывать

лишь однажды, когда младший брат Ивана, Костя, летел из Адлера — лесничество премировало его путевкой на курорт.

Устроившись в сторонке на удобном диване, Иван с Настей с любопытством рассматривали пестрые толпы пассажиров. Настю особенно поразили несколько лохматых иностранцев, горячо споривших о чем-то рядом с горой красивых, на первый взгляд неподъемных чемоданов. Одеты они были очень просто — в потертых джинсах да в свитерах. А у двух девушек свитеры были просто брошены на плечи и рукава завязаны на манер шарфа вокруг шеи. Короткие кофтенки не доходили у девушек даже до пояса, и Настя возбужденно шептала мужу:

— Смотри, смотри, Иван, пупки у девок торчат. Вот лахудры. А эта, длинная-то, туфли оставила — босиком по полу шлепает. Ох, была бы она моей дочерью...

Иван смотрел на девушек с доброй улыбкой.

— Чего они тебе не нравятся? Молоденьки...

— Молоденьки! — передразнила Настя. — Животы выставили, а ты и глазеешь. Бабьих пупков, что ли, не видал?

— Заграничные пупки-то, Настя. У наших баб таких не бывает, — смеялся Иван. — Да ты посмотри лучше на того дядю! — Он кивнул на длинного мужчину в белом плаще, выходящего из таможенного зала. — Видела, какая шляпа? Вся в клеточку и с пером...

Так они и сидели, перешептывались, внимательно прислушиваясь к объявлениям диктора. Анастасия, в повседневной жизни вечно командовавшая мужем, здесь притихла, держала Ивана за руку и делала все так, как он говорил. Только в одном не отступалась, не дала ему ничего выпить. Даже бутылки пива. «За рулем ведь, Ванюшка, — твердила она. — А вдруг Веркин муж не на такси, а на твоей трещотке поехать захочет!»

Самолет опоздал на полчаса, и Настя вся испереживалась — беспокоилась, не случилось ли чего. Потом они долго стояли у дверей таможенного зала, стараясь заглянуть внутрь, но там ничего не было видно.

В первый момент Настя не признала сестру. Вглядываясь в лица пассажиров, выходящих из дверей, она просто удивилась, что похожа одна немолодая, высокая женщина на ее мать. Отметив машинально это сходство, она тут же потеряла ее из виду, разглядывая все новых и новых людей, густым потоком валивших из таможенного зала. И только через минуту или две сердце у нее екнуло. Прошептав: «Да что же это я, дура!» — Настя стала лихорадочно крутить головой, разыскивая эту женщину, так похожую на мать.

Верка стояла в сторонке рядом с невысоким, полным мужчиной и хуленьким, большеглазым юношей.

— Вера! — крикнула Анастасия. — Вера! — Голос у нее сорвался, она громко всхлипнула и кинулась к сестре. Пассажиры оглядывались

с понимающими улыбками. Молодые иностранцы, среди которых были и девицы, так поразившие Настю, перестали спорить и, замерев, смотрели во все глаза, как, никого не стесняясь, рыдали немолодые женщины. Рядом, смущенно улыбаясь, стояли двое мужчин и высокий худощавый юноша с черными как смоль волосами...

А у Надежды Федоровны, когда она, слышав на улице шум автомашины, вышла на крыльцо и увидела Веру, идущую по саду, мелькнула мысль, что они с ней и не расставались надолго. Просто дочь живет в городе и приехала на выходные в деревню. Да, это была ее Верка, постаревшая на тридцать лет, седая, но очень знакомая, с тонким, ястребиным, как и у самой Надежды Федоровны, носом, складкой над переносьем и почему-то тревожными глазами. Надежда Федоровна хотела пойти навстречу дочери, да почувствовала вдруг, что ноги не слушаются ее и никак не хотят оторваться от пола.

— Да как же это, господи? — прошептала старуха, пугаясь своей беспомощности, чувствуя, что вот-вот упадет, но в это время Вера уже взбежала на крыльцо и обняла ее.

Потом, уже в доме, дочь познакомила Надежду Федоровну с мужем и сыном. Оба понравились ей, скромные, приветливые, не зыркают по сторонам. Думала, муж-то будет высок и кудряв, а вышло все наоборот — пониже Верки, лысенький. По сложению — ровно колобок. Но глаза зато ласковые. Надежда Федоровна все допытывалась, как его величать по имени-отчеству, а дочь смеялась:

— Он у нас без отчества. Луиджи, и все. Зови просто Луи. Поначалу малость чопорно все вышло, будто на смотринах. «Как доекали?», «Как здоровье?» Слава богу, по-русски говорят. Расспросили друг дружку, помолчали. Надежда Федоровна улыбнулась:

— Гостеньки дорогие, наш дом — ваш дом. Чем богаты, тем и рады! — Она развела руками. — Осмотритесь, оглядитесь... Чего не так — не взывайте. У нас тут хоть и тесновато, да не подеремся ведь?

Луиджи понял, рассмеялся добрым, открытым смехом.

— Не подеремся, не подеремся, — поддакнул Иван, и всем стало весело и легко. Верка принялась раскрывать чемоданы, доставать подарки. Все охали, восхищались красивыми шарфиками и косыночками, теплыми мохеровым платком, в который она закутала мать.

Да только не дали им и часа посидеть по-семейному. Один за другим начали подходить гости, в доме сталолюдно и шумно.

Когда все наконец уселись за праздничный стол, в комнате в первую минуту повисла напряженная тишина. Каждый поглядывал на соседа, надеясь, что тот начнет: возьмется наливать, скажет слово, но и сосед молчал, искоса поглядывая на Луиджи да на Верку, сидевшую рядом с мужем. Луиджи чувствовал на себе любопытные взгляды и краснел. То и дело вытаскивал из кармашка белоснежный платочек и осторожно прикладывал к лысине.

— Ну так что же вы, родненькие,— не выдержала Настя.— Примолкли все, будто и встрече не рады... Итальянка-то наша приехала! Не пропала там, в своей Италии... За это и выпьем.— Она взяла графинчик, налила себе и сунула в руки Ивану.— Ну-ка, давай, Ваня, разливай дорогим гостям.

Все сразу оживились, облегченно вздохнув, начали подкладывать себе закуски, пошли по рукам графинчики, тарелки со студнем.

Каждый старался попотчевать гостей. Павел Мохов, сидевший напротив Верки, подсовывал ей то вилочку соленой капусты, то студень, то грибки в сметане, каждый раз спрашивая:

— Вы, Вера Семеновна, наверное, отвыкли от нашей пищи? В Италии грибки не растут? Апельсинами питаетесь?

Вера смущалась, опускала глаза, но тут же подымала и внимательно, изучающе приглядывалась к Павлу. Перед самой войной Павел был по уши влюблен в старшую Богункову. «А он будто и не изменился,— думала Вера.— Красивый. Только суровый какой-то. Мечтал учителем стать и вот — добился. А вторая мечта не исполнилась...— Вера неожиданно для себя ощутила вдруг легкое сожаление о том, что судьба развела ее с Моховым.— Наверно, жили бы счастливо». Но тут же отмахнулась от своих мыслей.

Приятель Мохова, учитель литературы Олег Николаевич, все время ерзал на стуле, почти ничего не ел, а к вину и вовсе не прикасался. Чувствовалось, что он хочет о чем-то спросить Веру, но стесняется и никак не может вклиниться в беседу. Несколькими раз он склонился к Павлу и начинал ему что-то быстро-быстро шептать на ухо. Мохов всякий раз смеялся и отмахивался от приятеля.

Наконец, Олег Николаевич выбрал момент, когда Вера, уже раскрасневшаяся от выпитого, встретилась с ним взглядом, и спросил:

— Вера Семеновна, красота у вас там, в Неаполе, наверное, несказанная? Везувий, дворцы, залив Санта-Лючия...

— Неаполитанские песенки! — крикнул Мохов.

— Да погоди ты! — рассердился Олег Николаевич.— Дай с человеком поговорить!

— Красиво у нас, тепло! — сказала Вера.— Это верно. Бывает, осень стоит — ни одного дождика...

— А музеи, музеи в городе есть? Я читал — у вас столько интересного. Гробница Вергилия... Вы были там? Расскажите.

Вера растерянно смотрела на Олега Николаевича и машинально кивала головой.

Учитель, не замечая ее замешательства, настаивал:

— Расскажите про гробницу, Вера Семеновна!

— Ой, что вы, не до гробниц мне! Дети ведь у нас! Покормить, обстирать надо.

— Ну а по воскресеньям? Ходите на море? Вот Помпея... Эх! Я так хотел бы побывать там! Это грандиозно, да? Город, дошедший до нас

через тысячелетия! — Олег Николаевич воодушевился, говорил громко.

Луиджи смотрел то на учителя, то на жену. Он не все понимал в скороговорке Олега Николаевича, ждал, когда Вера переведет ему, о чем это с таким пылом говорит этот молодой человек в тяжелых роговых очках, но жена почему-то смущалась все больше и больше и молчала...

— Да что вы, Олег Николаевич, мучаете сестренку? — не выдержала Настя. — Мало вам учеников в школе?

— Ты, Николаич, и правда пристал как банный лист, — сказала Надежда Федоровна. — Музеи, Помпеи! Я вон рядом с Питером жисть прожила, а спроси меня, часто там бывала? В метро не ездила ни разу. Смешно сказать — а боюсь. Все как человек по земле ходишь, а тут — нате, полезай, как крот, под землю. А музеи? — Она махнула рукой. — Какие там музеи! То садишь картошку, то копаешь. А от дочки разве дождешься приглашения? — она кивнула на Анастасию. — За всю жизнь не дождалась. Вот была бы Ниночка жива, она б пригласила. — Надежда Федоровна махнула рукой и пригорюнилась.

Олег Николаевич смутился:

— Да я, собственно, так, из любопытства. Думал, приятно будет поговорить. — Он как-то сразу сник и склонился над тарелкой.

Вера глубоко вздохнула, словно собралась с духом, и тихо сказала:

— Вы не обижайтесь, Олег Николаевич. Я ведь не потому молчу, что обидеть хотела... Я в этой Помпее и не была ни разу. Луиджи мне рассказывал, когда он учился в школе — их на экскурсию возили. И Марио наш был. Тоже с учителем. А мне не довелось... — Она улыбнулась доброй, открытой улыбкой и тихо заговорила с мужем. Видно, пересказывала ему, о чем расспрашивал учитель. Луиджи кивал головой и почему-то виновато улыбался Олегу Николаевичу. Потом ласково обнял жену и поцеловал в щеку.

Олег Николаевич до конца вечера сидел мрачный, никаких вопросов больше не задавал, а все время подливал и подливал себе водки из графинчика с петухами.

Надежда Федоровна прислушивалась к расспросам учителя литературы с неудовольствием. Она чувствовала, что дочери неприятны его вопросы. А ей хотелось, чтобы Верке, ее Верке, было хорошо и ласково в отчем доме. Она, словно часовой на посту, за всем наблюдала, все видела. Заметив, что дочь несколько раз махнула рукой, отгоняя табачный дым, густо висевший над столом, старуха строго позвала внука:

— Мишка! Фортку открой. Никакого продуху нет. — Проследив, как мальчик исполнил приказание, она улыбнулась Верке. — Ишь, накурили, ироды. Задохнутся люди... — И тут же спросила у Анастасии: — Ребенок небось некормленный?

— Не хочет! — беззаботно махнула та рукой.

— Не хочет! — повторила старуха. — Сами разбаловали: жареного не ем, пареного не хочу, на тушеное глаза не глядят! У-у, привереда!

Все засмеялись, а Мишка стоял рядом с бабушкой, приклонив к ее плечу голову, и улыбался, довольный тем, что на него обратили внимание.

Надежда Федоровна следила, чтобы у Веры и у ее мужа была еда в тарелках, приносила с кухни холодненького морсу, который Луиджи поглощал стаканами. Каждый раз, проходя мимо дочери, она старалась украдкой то погладить ее по плечу, то поправить волосы, то просто прикоснуться ненароком.

Марио примостился у окна на диване в окружении молодежи. Рядом, притиснув его плечом, сидела соседская Ритка и тихонько пела, подыгрывая себе на гитаре. Пшеничные ее волосы рассыпались по плечам, и она время от времени подергивала головой, чтобы красивее лежали. Она пела, неотрывно глядя на Марио, словно хотела его загипнотизировать:

Широкой лентой связаны,
Хранились вы года.
Но приговор мой сказан:
Прощайте навсегда...

— Ритка, лешачка! Отлипни от мальчика! — сказала Надежда Федоровна и добавила громким шепотом: — Уставилась, бесстыжая! Грудями не играй!

— Да пусть повеселятся! — засмеялась Вера, тронув мать за руку. — Молодые ведь!

— Я те настрекаю сейчас! — обернувшись к внуку Мишке, пригубившему стакан с пивом, вдруг крикнула старуха. Казалось, вся жизнь в доме, весь распорядок этого радостного семейного праздника незримо согласуется с ее волей.

А Ритка все глядела на молоденького, то и дело смущающегося итальянца своими большущими, будто застывшими глазами и, перебирая струны, тихонько пела один романс душещипательнее другого:

Мне сегодня так больно,
Слезы взор мой туманят,
Эти слезы невольно
Я роняю в тиши...

Пришли сильно запоздавшие Аверьянычи. Сестра Надежды Федоровны с сыном Николаем и его женой Лидой. Собственно, фамилия у них была Рожкины, но все звали их Аверьянычами, по имени рано умершего мужа Анны — Аверьяна Рожкина.

Анна Федоровна еще от дверей разглядела Верку и кинулась к ней, зарывшись и запричитав в голос. Они обнялись, и Верка стала гладить тетку по спине, уговаривать:

— Да что ты, тетя Анна! Ну жива ж я, здорова! Что плакать-то?!

Но Анна продолжала рыдать, пока Надежда Федоровна не цыкнула на сестру.

Та словно бы и не плакала — поправила беленький платочек на голове и, скорбно поджав губы, сказала Верке:

— Вот видишь, мать твоя все командует. Все не по ей!

— А-а,— недовольно махнула рукой Надежда Федоровна.— Ты, Анна, ровно как староверка. Хлебом не корми — дай попричитать. Садись вот. Да своих зови, чего застолбенели у дверей.— Она поставила на стол чистые тарелки, рюмки, принесла с кухни горячей картошки.

Николай подошел к Верке. Степенно, не улыбнувшись, поздоровался за ручку.

— Ой, мамочки! — качала та головой, пытаясь обнять брата, но Николай не давался, стоял набычившись.— Вот вымахал, вот вымахал... Никогда бы не узнала!

— Чегой-то он у тебя словно огурец проглотил? — спросила Надежда Федоровна у сестры.

— Беззубый. Выдрал все, вставлять хочет. Вот и сказала я ему — не скайся.— Все засмеялись.

Николай рассерженно глянул на мать и, отойдя от Верки, молча уселся рядом с женой. Однако молчал он недолго. Выпив пару рюмок, он осмелел и громко, на весь стол спросил, прикрывая ладонью беззубый рот:

— Верка, правда, что ль, у вас там в ресторанах голые бабы пляшут?

— Правда, правда! — крикнул Гриша Лоска.— Мне верный человек рассказывал. Сам видал.

Верка смутилась, не найдя что ответить.

— Какая она тебе Верка?! — строго одернул Аверьяныча Иван.

— А что, сеструха ведь! Хоть и двоюродная.

— Се-стру-ха... — врястяжку, с какой-то укоризной произнес Иван и вдруг, что-то заметив, сам набросился на Веру: — Да ты что у мужа опята рюмку отымаешь? Поставь и не трогай! Пусть пьет в охотку!

— Ишь, расхрабился хозяин-то! — сказала мать с каким-то даже удовлетворением.

Луиджи улыбался, застенчиво поглядывая то на жену, то на Ивана. Вера что-то быстро-быстро зашептала ему на ухо.

Иван недовольно завертел головой:

— Ну пошла накачивать. Луи, давайте выпьем, чтоб жилось нам хорошо!

— Да, да! — обрадовался Луиджи. — Чтобы хорошо! Всем хорошо!

Они чокнулись. Мать в это время выговорила Вере:

— Нечего мужика на людях шпынять. Небось, сам все знает...

— Как же, знает... — с обидой прошептала Вера, но от мужа отстала.

Раздухарившийся Аверьяныч все требовал от нее ответа:

— Нет, ты мне все же ответь, Вера, неужто совсем голые бабы пляшут? И срам не прикрыт?

— Вот пристал ровно банный лист! — усмехнулся Иван. — Подавай ему голых баб! Анна, — окликнул он мать Аверьяныча, — ты послушай, чего тут твой Николай требует!

Тетка Анна сердито посмотрела на Ивана и обиженно сказала:

— Поите его больше, поите. А над пьяным и посмеяться можно.

Иван отмахнулся от нее, как от надоедливой мухи. Сказал Николаю:

— Я тебе, Аверьяныч, счас журнал дам посмотреть. Вера привезла. Там все боле про юбки-платья, но и голые девки есть. — Он выбрался из-за стола и принес из маленькой комнаты яркий толстый журнал.

Николай хотел было взять его, но жена перехватила:

— Успокойся, вместе листать будем. Мне тоже интересно моды посмотреть.

— Правильно, Лида! — одобрил Иван. — А то Колька еще винегретом замажет.

Лида медленно листала журнал, а Николай время от времени вскрикивал:

— Вот это машина! Красотища! Я таких отродясь не видел. А во еще... Ну, живут люди! Глянь, Лидка, дом-то какой — ровно дворец. И гараж под ним. — И требовал, чтобы жена показала картинку всем присутствующим. — Иван! — дергал он за рукав свояка. — Погляди, Иван! Павел Георгиевич, смотрите сюда! — От Аверьяныча отмахивались. Он обижался и покрикивал на жену: — Лидка, давай листай дальше. Чего на платья уставилась? Все равно таких не куплю!

Наконец он затих, только время от времени восклицал громким шепотом: «Живут же люди!»

Потихоньку стол распался на маленькие группки. Вера о чем-то тихо говорила с Анастасией, тетка Анна, подставив свой стул поближе, внимательно прислушивалась к их беседе. Подвыпившие Иван и Гриша Лоска втолковывали Луиджи что-то про охоту и рыбалку. Время от времени с того конца стола, где они сидели, раздавались бурные взрывы хохота. Видать, Иван рассказывал что-то веселое, потому что Луиджи то и дело всплескивал руками и восторженно крутил головой. Вера иногда поглядывала на мужа и тоже улыбалась. Была довольна, что к нему отнеслись дружески,

с вниманием, без всякой предвзятости. Настороженность в ее глазах постепенно исчезла, сменилась ровной, спокойной радостью.

Однако не обошлось и без огорчений. Учитель Олег Николаевич, обиженный Веркиным невниманием к злополучной Помпее и другим знатым достопримечательностям Римской империи, потихоньку нагрузилась до мрачного состояния и, не справившись с обуревавшими его чувствами, неожиданно ударив кулаком по столу, изрек:

— А это все-таки свинство! Не побывать в Помпее! Каких-то жалких двадцать километров! Вас дети не поймут!

Все зашумели на Олега Николаевича, принялись его стыдить, а Вера заплакала. И от обиды на эту проклятую Помпею и просто оттого, что всю последнюю неделю, с тех пор как Луиджи взял билеты на самолет до Ленинграда, нервничала и переживала за предстоящую встречу.

Гости стали потихоньку расходиться по домам.

Аверьянычи шли молча, погруженные в свои мысли. Уже перед самым домом тетка Анна сказала, обращаясь к невестке:

— Ты, Лида, заметила, какой костюмчик на Верке? У нас такой материи днем с огнем не сыщешь. А сшит-то как! Умеют там жить.

— Да брось ты, мать! — неожиданно рявкнул на нее Николай. Умеют, не умеют! Машинки, девки... Чего же она белугой-то ревет?

— Учитель причепился... — робко возразила мать, но Николай с таким остервенением сплюнул, что она замолкла.

На следующий день встали рано — не спалось. Долго пили чай. За разговорами Надежда Федоровна не один самовар вскипятила. Иван повел мужчин показать огород, озеро. Мать спросила у Веры:

— Может, на кладбище ходим? Я тоже давно не была...

— Я одна, ладно, мам? — попросила Вера. — Первый раз одна. Потом вместе ходим.

Мать кивнула.

...Вера подошла к калитке: густые кусты нависали над стареньким, чуть покосившимся палисадником, образуя зеленую арку. Бурые кисти давно отцветшей сирени тяжело клонились к земле. «Чего ж это они такую красу весной не срезали?» — подумала Вера, вспомнив огромные букеты сирени, стоявшие дома в далекие военные времена.

Через дорогу, напротив, сидели на скамеечке две старухи в одинаковых темных клетчатых платках. Вере почудилось, что старухи пристально рассматривают ее сквозь кусты и ждут, когда она выйдет за калитку. «Старухи-то, наверное, знакомые? До войны в том доме Мария Вавилкина жила... Неужели она так состарилась? — ужаснулась Вера. — Сейчас я выйду — расспрашивать начнут...» Ей вдруг стало боязно открыть калитку и выйти на дорогу, навстречу и этим старухам и тем людям, которые еще повстречаются по пути на кладбище.

«Хоть бы знакомых не встретить», — подумала она.

Там, у себя в Неаполе, собираясь к матери в Замостье, Вера с особым удовольствием представляла себе, как пройдет по деревне, заглядывая из дома в дом, навещая своих давних подруг, рассказывая им о своем житье-бытье, вспоминая молодые годы. И вот испугалась. А чего — она и сама понять не могла. Просто екнуло сердце и рука, которую она протянула было к щеколде, чтобы открыть калитку, сделалась неожиданно тяжелой.

Наверное, из-за того, что жизнь ее так резко сломалась надвое, на две такие непохожие и неравные половинки, воспоминания о детстве и юности нисколько не поблекли в Вериной памяти, не погасли под напором последующих лет, а, наоборот, стали более яркими и рельефными.

«Ну что же я, чего стесняюсь, надо идти», — решила Вера и, открыв калитку, вышла на дорогу. Старухи с достоинством поклонились ей.

— Здравствуй, Семеновна! — ласково проворковала одна из них, полная, с надутыми, как у карапуза, щеками. — С приездом тебя!

Вторая, сухонькая и маленькая, вся закутанная в платок так, что торчали один нос да глаза, все время кивала, подслеповато щурясь.

Вера остановилась. Поздоровались. Подумала: «Сейчас начнут расспрашивать».

Но та, которая назвала ее Семеновной, сказала участливо:

— На кладбище, дочка? Сходи, сходи, поклонись папке. И Ничочку проведай. — Она жалостливо вздохнула и перекрестилась, прошептав что-то себе под нос.

Утро было тихое, безветренное. Не слышно было ни голосов, ни роката трактора. Откуда-то, наверное, с огородов, тянуло дымком, и Вере показалось, что жители куда-то ушли из деревни, оставив одних старух. Как на подбор дряхлых, закутанных в темные платки. Старухи сидели на скамеечках, стояли, облокотившись на забор. Одни молча раскланивались с Верой, другие называли ее по имени, вздыхали, качали сочувственно головами. И ни одна ни о чем не спрашивала, не зазывала в дом, не предлагала присесть на лавочку. Словно все они знали, куда и зачем идет Верка-итальянка ранним субботним утром.

«Сколько же их здесь расселось! — удивлялась Вера, боязливо приближаясь к очередной старухе, ужасаясь оттого, что не может ни одну из них узнать. — И чего они расселись? Всегда сидят, что ли? Или потому, что суббота?» Она спиной чувствовала, что старухи глядят ей вслед, и представляла, как они тихо перешептываются, жалея ее.

«Чего они меня жалеют, чудачки? — подумала Вера. — Темные старухи. Наверное, за всю жизнь дальше Сиверской не побывали! Чего жалеют, чего жалеют...»

Но думала Вера про старух без обиды, скорее ласково. Сколько лет прошло, а помнят. Семеновной зовут.

Возле магазина, видать, недавно выстроенного, с большими витринами, стояли, покуривая, несколько парней. Скользя равнoдушными взглядами по Вере, один что-то негромко сказал. Все засмеялись. Вера ускорила шаг, но в это время из магазина вышел рослый, широкоплечий мужчина с буханкой хлеба под мышкой. Вера чуть не вскрикнула от неожиданности. Это лицо, с рыбьими навывкате глазами, с двумя глубокими морщинами у рта, она хорошо помнила с довоенных времен, когда Николка Криворотов, молодой, франтоватый, командовал их колхозом. И помнила, как февральской ночью сорок третьего староста Криворотов с двумя немцами вломился к ним в избу и, дав десять минут на сборы, увел Веру с младшей сестренкой Нинкой, чтобы отправить потом в Германию. Один немец держал мать, накрутив на свой веснушчатый кулачище ее косу, а другой вытаскивал из постели девчонок, больно щипая их за грудь и ягодицы. А Криворотов стоял посреди комнаты в заиндевелом полшубке, искоса поглядывая на одевающихся девчонок, и бубнил одну и ту же фразу: «По приказу командования на работу в фатерланд...»

Потом их ввели через всю деревню к школе. Сквозь вой вьюги то там, то здесь были слышны отрывистые крики, плач. Во многих домах неярко светились окна.

В школьном подвале собрали тридцать пять замостских девчат. Через день привезли ламповских, орлинских. Вокруг школы день и ночь толпились матери, пытались передать еду, теплую одежду, слышались рыдания, окрики часовых, ругань. Потом все стихло — перед отправкой немцы огородили школу колючей проволокой, выставили усиленную охрану. Время от времени слышались выстрелы. Вера с Ниной тряслись от страха за мать — как бы чего не случилось с нею, когда она будет пытаться пройти к ним.

Все эти давно, казалось, забытые картины живой явью пронеслись в голове Веры, едва увидела она высокого мужчину с буханкой хлеба.

«Боже мой, боже мой! — шептала она. — И ходит он до сих пор по деревне живой-здоровый? И ни от кого не прячется? А что же люди-то? Слепые? Все позабыли? Мама, старухи... Все же помнят...» — Она слышала тяжелые, твердые шаги сзади.

— Никак Верка Богункова объявилась! — сказал Криворотов, поравнявшись с нею. — А мы-то уж крест на тебе поставили. Думали, напрочь забыла...

— Здравствуйте, Николай Григорич, — выдавила из себя Вера, чуть покосившись на Криворотова. — Приехала вот с мужем погостить. И с сыном.

— Ну и как, хлеба заморские слаще наших?

Вере хотелось крикнуть ему: «Да ведь это ты, ты, дьявол, отправил меня на заморские хлеба, а теперь еще издеваешься!» Но она сдержалась, только втянула голову в плечи, сжалась вся.

— Ладно, не обижайся,— примирительно сказал Криворотов.— Долго ли гостевать будете?

— Три недели. Мужу на работу пора.

— Он у тебя в каких чинах-то ходит?

— На кране работает. В порту.

«Скоро ли он отцепится от меня?» — думала Вера, машинально отвечая на вопросы.

— Ага... — многозначительно хмыкнул Криворотов, и Вере почудилось в его голосе удовлетворение. Некоторое время он шел молча, словно собирался с мыслями. Наконец снова спросил: — Ты что ж, и помирять в своей Италии будешь? Или домой соберешься?

Вера вздрогнула от этого холодного, прямого и точного вопроса. От вопроса, который никто еще не задавал ей и который сама себе она задать боялась.

— Корявый вопрос я тебе, Верка, задал? Не сердчай. Я и сам-то корявый.— Он остановился.— Прощевай, Семеновна. Я дошагал. Эвон какую избу себе справил! — Криворотов показал рукой на большой, в четыре окна, свежерубленный дом с зеленым палисадником. Перед домом широко раскинула ветви рябина, усыпанная рдеющими гроздьями. Он свернул к дому. Глухо хлопнула калитка.

«Подлец, подлец! — зло шептала Вера, с ненавистью глядя на новенький дом.— Хоть бы сгорел ты вместе со своим домом».

Рядом со школой она свернула в проулок между заборами. Мягкая полевая дорога вилась к леску, стоящему особняком, словно остров среди золотого моря жнивья. Это и было деревенское кладбище. Большая стая ворон с карканьем кружила над могучими деревьями. Чуть поодаль бродили по полю несколько черно-белых коров. Прохладный ветерок тянул с полей. Вера наконец успокоилась. Такая знакомая, такая родная картина открылась перед ней, что она забыла и про жалостливых старух и про Криворотова с его беспощадным вопросом. Она земедлила шаги и смотрела, смотрела сквозь слезы на эти желтые поля и вьющуюся вдоль дорогу, на синий лес у горизонта и вызолоченные осенним солнцем кручи белых облаков. И все тот же легкий запах дыма, который она почувствовала, выйдя из дому, носился в воздухе, только теперь к нему примешался густой, теплый запах жнивья.

Вера вдруг вспомнила сладковатый запах, неистребимый и вьедливый, к которому она так и не смогла привыкнуть в Неаполе. Он всегда стоял в городе, особенно в узких улочках, там, где много тракторий, где на жаровнях пекут колбаски и каштаны.

«Как хорошо, как хорошо!» — шептала Вера. Ей было легко и спокойно в этой осенней прозрачности и только одного хотелось, чтобы это продолжалось бесконечно.

У кладбища она свернула с мягкого проселка на тропу. Кое-где еще цвели поздние ромашки с ломкими, задеревеневшими стебельками.

Вера нарвала небольшой букетик. Она вспоминала, как в детстве собирала вместе с сестрами на этом лугу огромные букетицы ромашек и васильков, как отыскивала в густой траве возле кладбища крупную розовую землянику. Вера и узнавала и не узнавала эти места. Ей казалось, что именно такими и помнила она и дальний темный лес, и деревню в низинке, спрятавшуюся среди яблонь и лип, и кладбище под сенью могучих тополей. И в то же время на каждом шагу ее подстерегали неожиданности. Сразу за деревней виднелась высокая насыпь железной дороги, и паровоз неспешно тащил по ней несколько товарных вагонов. «Ну это уж после войны построили, без меня», — подумала Вера, но тут же обнаружила рядом с кладбищем глубокий овраг и узкую — перепрыгнуть можно — речку среди кустов тальника. И про эту речку, как ни пыталась она вспомнить, не вспомнила. Не вспомнила и про то, что это за дом, от которого остался один кирпичный фундамент, стоял рядом с кладбищем. Да и много другого не могла вспомнить...

Вера перешла по ветхому мостику через речку и увидела Мохова. Он сидел на огромной поваленной березе, перегородившей вход на кладбище. Дерево упало, видать, недавно — тронутые желтизной листья еще не осыпались.

— Привет итальянцам! — негромко сказал Павел. — Без провожатых ходишь? Не забыла дорогу?

— Здравствуйте, Павел. — Вера остановилась рядом. — А что вы тут делаете?

— К тебе на свидание пришел, — сказал Мохов, и Вера увидела, как он вдруг покраснел. Ей стало неловко от этого, и она поспешно спросила:

— А как вы нашли меня здесь?

— Неудобно получается — я ей «ты», а она меня на «вы». Вот что значит Европа... — Мохов волновался.

«Чего это он?» — подумала Вера. — Как мальчик...» Она села рядом с ним на березу, провела рукой по шершавой коре.

— Я домой к вам заглянул. Надежда Федоровна рассказала, куда вы пошли, — он сделал на «вы» ударение. — А у меня сегодня занятий мало. Сел на велосипед...

Тут только Вера заметила, что на ветках упавшей березы лежит велосипед.

— Давай, Павлуша, и правда на «ты», — сказала Вера. — Я просто отвыкла. Позабывала все... И про эту речку забыла. Как она называется-то?

— Орлинка.

— Орлинка! — повторила Вера. — Орлинка... Вот видишь, а я забыла.

— А помнишь, мы на этой Орлинке налимов ловили?

— Нет, не помню.

Мохов потускнел, насупился.

— А я, Верунька, все-все помню, — тихо сказал он, и у Веры вдруг екнуло сердце от этой давным-давно забытой «Веруньки». — Я тебя никогда не забывал, все ждал, что вернешься. Я тебя, Вера, всю жизнь ждал...

Это признание было так неожиданно для Веры, что она долго не могла найтись что сказать. «О господи, неужто это он всерьез? — волнуясь, думала она. — Детскую любовь вспомнил. Ну что я ему скажу — столько лет прошло».

— Павел, Павел... — наконец сказала она с укоризной. — Зачем ты так? Тридцать лет ведь утекло. Даже тридцать два. Кто же так долго, Павлуша, ждать может? Шутишь ты, что ли?..

Мохов молчал и только с какой-то мрачной сосредоточенностью отдирал от ствола куски потемневшей толстой бересты. Дерево, видать, было очень старым, и береста отдиралась с трудом и совсем не скручивалась. Под ней обнажалась нежная и белая, как снег, молодая кожа.

— Это такой срок, Павлуша... — задумчиво глядя куда-то вдаль, продолжала Вера. — Такой срок... Целая жизнь. Ниночка наша столько на своем веку натерпелась, а до тридцати и не дождала.

— А я ждал, Вера, ждал, — упрямо сказал Мохов.

— И не женился ни разу? — неожиданно улыбнувшись, спросила Вера.

— И не женился.

— Пав-лу-ша! Неужто всю жизнь в холостяках проходил? — В голосе Веры теперь уже чувствовалось неподдельное удивление, смешанное с любопытством.

— Вера... — сказал Мохов с укоризной.

Она вдруг совсем по-новому увидела человека, сидящего рядом. Увидела большую седую голову, высокий, без единой морщинки лоб, добрые, но какие-то стылые, неподвижные глаза. И поняла, сердцем поняла: какими бы неправдоподобными ни казались ей слова Павла, он говорит правду.

— Ой, мамочки! — растерянно, как-то совсем по-бабьи выдохнула Вера и, закрыв глаза, замотала головой. Она вдруг представила себе, сколько горечи, сколько страданий принесла Павлу эта непонятно затянувшаяся на долгие годы любовь, и чувство безысходности захлестнуло ее. Вера вспомнила несколько писем, которые она получила после войны от Мохова. Она лишь улыбнулась, прочитав их. Такими далекими были тогда и Замостье и Павел Мохов — друг детства, первая любовь — со своими наивными письмами. «Неужели и теперь я ему нужна?» — думала Вера. — Видит ведь — старая баба... Пятьдесят лет».

Некоторое время они сидели молча. Наконец Павел поднялся:

— Мне пора, Вера. Сейчас в школе перемена, а потом мой урок.

Он достал велосипед, развернул его.

— Не сердись на меня, Павел,— сказала Вера.

— Да разве в этом дело, в этом дело? — горячо заговорил Мохов. — Неужели опять от нас уедешь? Дом-то твой где? В Италии, что ли?

— В Италии,— грустно покачала головой Вера.

— Здесь твой дом, в Замостье. В Ленинграде, черт возьми! — Он все больше расплялся. — Мать у тебя здесь, сестра. Вон родни сколько набегало! Неужели и помирить на чужбине останешься? — Он понизил голос: — Ты хоть и не веришь мне, а ждал я тебя. Ждал, понимаешь?

Павел с размаху вскочил на велосипед и погнал, не оглядываясь.

«Ловко он ездит», — машинально отметила Вера, глядя на удаляющегося Мохова.

Легкие облачка пыли остались висеть над дорогой и после того, как Павел Георгиевич скрылся за домами.

«Боже мой, боже мой! Как все сложно... Думала, приеду, погощу три недельки, порадуюсь вместе с родными и спокойно домой, а тут одни расстройства...» Вера стала думать о Павле, о том, как приехал он сейчас в школу и пришел в класс. Дети его, наверное, любят. Он добрый, красивый. Как-то он начнет урок? Она представила его в классе, у географической карты.

«Это, ребята, Апеннинский полуостров,— говорит Павел Георгиевич, ведя указкой по маленькому сапожку. — Здесь, в Италии, в городе Неаполе, живет наша односельчанка Вера Семеновна Богункова, дочка тети Нади Богунковой. Вера Семеновна, ее фамилия по мужу Руффо, обрела в Италии свою вторую родину».

«О господи, бред какой-то!.. — отмахнулась она от своих мыслей. — И чего это я Павла все жалею? Не себя ли мне жалеть надо?»

Вера поднялась с дерева и тихонько пошла по заросшей тропинке в глубь кладбища. Где-то высоко над головой, в гуще деревьев хрипло каркали вороны. Здесь было сумрачно, сыро. Большинство могил заросло высокой травой, кустарником. Особенно много было бузины. Красные ее ягоды уже переспели и осыпались. Вера вспомнила, как до войны они с матерью чистили бузиной самовар и широкий медный таз для варки варенья. Вспомнила и грустно улыбнулась: шагу тут не шагнешь без воспоминаний.

Тропинка вела все дальше и дальше, становилась уже, подлесок сплетался над головой, образуя зеленый шатер. Но Вера не сомневалась, что идет по верной дороге — могилы отца и бабки с дедом, а теперь и могила Ниночки были в самом дальнем углу кладбища, у красного песчаного обрыва. Велико же было ее изумление, когда тропинка уткнулась в забор из колючей проволоки. «Неужели я ошиблась? — подумала Вера и тут же отогнала сомнения. — Нет, я шла правильно. От входа все время прямо

и у красного обрыва направо. Но здесь никакого обрыва нет... Значит, это не та тропинка».

Она вернулась к поваленной березе и долго стояла, вспоминая. Ошибки быть не могло. «Может быть, просто перегородили кладбище и теперь подход с другой стороны?» — подумала Вера. Спросить было не у кого, и она решила пойти по другой тропинке, рядом. Здесь ей попало много свежих могил с крестами, со звездочками, с увядшими и свежими цветами. Она шла, машинально читая надписи, и вдруг словно споткнулась. «Незабвенной памяти нашей жены и матери Татьяны Ивановны Соленой...» — было написано на пластинке, прикрепленной к кресту под фотографией совсем молодой и красивой Таньки Соленой, ее лучшей школьной подружки. И цифры: «1926—1975».

«В прошлом году умерла,— прошептала Вера.— А мама мне ничего не сказала...»

Эта тропинка тоже привела ее к колючей проволоке. Расстроенная, усталая, Вера бродила по кладбищу, уже не разбирая дороги, и только шептала: «Да ведь я так хорошо помнила эту тропинку, ведь она у меня как наяву перед глазами всегда стояла». Совсем выбившись из сил, она всплакнула и опять долго сидела на поваленной березе, стыдясь показаться в деревне с заплаканными глазами. Успокоившись, решила: завтра с мамой приду.

Маленький букетик осенних ромашек она положила на могилу Тани Соленой.

По деревне она прошла быстро, не поднимая глаз. Когда вошла в дом, мать сидела на кухне, готовила пельмени. Нарезала рюмкой кружки из раскатанного теста и негнущимися пальцами медленно заворачивала в тесто мясной фарш. Не отрываясь от дела, сказала:

— А твои с Иваном теперь в Батово поехали. На мотоцикле. Места тамошние посмотреть. К обеду, сказали, не ждать. Да ты никак расстроилась, дочка?— встревожилась мать, не услышав ответа, и подняла голову: — Чего молчишь-то?

Вера провела рукой по лицу и всхлипнула. Она медленно подошла к диванчику, стоявшему в углу, медленно села, сложив на коленях вдруг ослабевшие руки. Мать поднялась из-за стола, села рядом.

— Не нашла я могилки,— сказала Вера.

— Так и мудрено найти-то,— успокоила ее мать.— За тридцать лет-то сколько переносила туда. Не сосчитать... Да и позарастало все. Ох, позарастало! Свои блукают...

Вера опять всхлипнула и вдруг громко, в голос зарыдала, привалившись к матери, обняв ее колени. Надежда Федоровна не успокаивала ее, а только молча гладила по спине, по голове, не замечая, что руки у нее в муке и мука остается на кофточке, белой пудрой засыпает волосы. Она чувствовала, какая печаль засела в душе у дочери, но молчала. Не всякое горе можно утешить.

Выплакавшись, Вера наконец оторвалась от матери. Лицо у нее припухло, стало совсем некрасивым. Шмыгнув носом, она совсем по-детски оттопырила губы и виновато посмотрела на мать. Надежда Федоровна улыбнулась ей.

— Пойду пельмешки доделаю. Небось, на плите вся вода выкипела.— Она тяжело поднялась с диванчика. Добавила из ковшика воды в кастрюлю, уронив несколько капель на раскаленную плиту. Кухня наполнилась паром.

— Мам, я на улице Криворотова встретила,— сказала Вера.

— Николку?

— Да, Николая Григорича,— удивляясь материнскому спокойствию, ответила Вера.

— Признал он тебя?

— Мама, а как же он по нашей деревне спокойно ходит, предатель?! Разве можно такое прощать? Да еще дом себе отгрохал. Лучше нашего. И не боится?

— На всяку беду страху не напасешься,— сказала мать. — Старый-то дом у него спалили. После войны. Он, когда с отсидки-то пришел, в бане жил с детьми и с Лушей, с женой.— Мать задумалась, машинально разминая в руках пельмешку. — Десять лет он в Воркуте уголек тюкал. День в день отсидел за свои грехи. И не посади его судья — может, и живому не быть. Сгорел бы вместе с домом... А простили его люди, нет ли — им об этом лучше знать.

И Вера почувствовала вдруг, что она лишь гостья в этом доме, в этой деревне. Родная, любимая, но гостья. Поживет здесь свой срок и уедет, а все ее родные и близкие останутся со своими делами, горестями и радостями.

На следующий день они вместе с матерью и с Настей сходили на кладбище. Посидели на старенькой лавочке в ограде возле могил отца и младшей сестренки, поплакали. Вера подвиглась, что не смогла накануне отыскать могилы — совсем, кажется, рядом ходила.

Время летело незаметно. Несколько раз ездили в Ленинград, ходили по музеям, пешком обошли все набережные.

— Боже!— сказал после одной из поездок Луиджи.— Я думал, что краше Рима нет ничего на свете!

Дни стояли ясные и тихие. Рано утром, полусонная, еще не освободившаяся от сладкой полудремы, Вера накидывала халат и шла в огород. Там, под яблонями, возле старой, прокопченной баньки, был врыт в землю дощатый круглый стол и маленькая скамеечка. Вера садилась на нее и, кутаясь в халат, подставляла лицо первым лучам солнца, с трудом пробивающимся сквозь плотный туман. И стол, и скамейка, и темные стволы яблонь были пропитаны влагой, словно только что пролился дождь. Время от времени по стволам тонкой змейкой стекали крохотные ручейки, а с пожухлой листвы гулко

падали тяжелые капли. Воздух был насыщен терпким запахом прелых яблок, подсыхающей картофельной ботвы.

По утрам деревню окутывал туман. Иногда Вере казалось, что совсем рядом, за туманом скрывается Неаполь. Вот-вот набежит ветер с залива, растреплет, разнесет туман по узким улочкам, и откроются ряды темных плоских крыш, спускающихся уступами к морю. Справа старая крепость и унылая серая громада морского вокзала, белые нарядные теплоходы у стенки. Сколько раз они ходили с Луиджи и с ребятами на пирс встречать советских! Поглядеть, послушать русскую речь, а если удастся — поговорить. Хоть несколько минут. Да разве поговоришь по-настоящему? Туристы вечно торопятся. Удивятся, услышав, что к ним обращаются по-русски, ответят что-нибудь невпопад, сунут открытку или значок на память. Но по глазам видно — не до тебя. Скорей в большие, красивые автобусы — и в город. В Помпею, в Рим... А некоторые посмотрят подозрительно — и в сторону.

...Справа, вдоль самого берега, зелень Санта-Лючии. Но туда выбирались редко. Магазинов на набережной нет, а если и есть, то очень дорогие. Слишком шикарные. Даже американские матросы, уж на что разбитные, сторонятся их. Стесняются.

Колька Аверьяныч — чужак, вот вымахал парень, когда в Германию угоняли, ползунок еще был — пристал, расскажи ему, как бабы в ресторанах танцуют. Да ее в такой ресторан и silkом не затащишь. Кольке со старшим сыном, с Виктором, об этом перемолвиться — тот бы порассказал! А Веру Луиджи лет десять назад привел в одно заведение — насмотрелась на всю жизнь. Нет уж, пусть мужики одни ходят. И Луиджи-то не охотник до ресторанов. С семьей не разгуляешься — разве кто из приятелей пригласит. Господи, да какие рестораны? То-то сам Аверьяныч ходит тут по ресторанам. Как бы не так!

А с Луиджи ей повезло. Добрый мужик — из тысячи небось один такой попадает. Ну а про остальное — кому как на роду написано...

Туман медленно отступал. Выплыл из белого небытия и вспыхнул земным солнцем растущий на меже клен. И сразу сделалось светло и празднично. Стоило прищурить глаз, и клен становился похож на огромный золотой шар. Вера хорошо помнила, как появился этот клен. Раньше росла старая рябина. Мать рассказывала, что сажала рябину еще отцова бабушка — Прасковья.

В тот год летом над деревней промчался ураган, свалил много старых деревьев, сломал и эту одинокую рябину. Отец убрал сучья, распилил ствол на дрова, а осенью принес из лесу тоненький кленок с тремя большими краснеющими листьями... Сколько времени прошло, нет отца, нет Ниночки, а клен растет.

«А я-то ни одного деревца здесь не посадила, — подумала Вера и ощутила непонятную тревогу. — Вот уеду домой... — Она споткну-

лась на этом слове и, как бы споря сама с собой, мысленно повторила: — Вот уеду домой — куда же еще — домой ведь! — на память обо мне ни одного деревца не останется».

Подумав так, она тут же вспомнила, как сажали здесь, в саду, всей семьей яблони. Антоновку, привезенную из Пушкина, из питомника. Она ласково оглядела сад, провела рукой по темному стволу ближайшей яблони и, посмотрев на испачканную ладонь, тихо засмеялась.

А туман все отступал и отступал. Уже блеснула прибрежная полоска озера, начинавшегося прямо за огородом, и объявились хлипкие мостики, уходившие в туман, да десятка три плоскодонок, теснившихся вдоль них. В тумане слышались мужские голоса. Наверное, переговаривались рыбаки. Где-то там, на озере ловили рыбу вместе с неугомонным Иваном и ее мужчины. Почти каждый день они ездили вместе с ним то на охоту, то на рыбалку, то просто красивые места посмотреть. Луиджи был счастлив. Появляясь ненадолго в доме, он, яростно жестикулируя, кричал: «Прекрасно! Восхитительно! Я пью воздух! Пью, пью,— понимаешь, Вера! Болото, мох — так пахнет... Это чудо!»

— Да уж, конечно, чудо! — подзадоривала его Вера.— Нашел чего хвалить — болото.

У Луиджи от возмущения перехватывало дыхание. Он укоризненно качал головой, говорил: «Эх, женщина! — И кричал Ивану: — Ваня, скажи этой женщине, как пахнет мох! Скажи ей, Ваня. Да скажи еще про куропаток. И про красные ягоды скажи...»

Иван тихо улыбался, счастливый от того, что гостю так нравится все, что он успел показать ему. Иногда вместе с ним ездил и Марио. Вот и вчера они втроем отправились на ночную рыбалку. Но чаще сын пропадал у соседей, в гостях у Риты, чем вызывал недовольство бабушки. «Не доведет эта девка до добра», — ворчала Надежда Федоровна.

Однажды, выйдя по обыкновению рано утром в сад, Вера услышала разговор сына с Ритой. В тумане ребят не было видно. Наверное, они шли с озера по огороду.

— Приедешь? — спросил Марио.

— А как же! Самолет прилешь? — засмеялась Ритка. Негромко, сдержанно. Марио молчал.

— Ну так прилешь самолет?

— Самолет,— повторил сын грустно.— Знаешь, отец с матерью три года на эту поездку лиры собирали...

— Не близкий путь,— как-то совсем по-взрослому сказала Ритка и спросила: — А тебе нравится у нас?

Он долго молчал.

— Ну же? Сказать нечего?

Вера услышала звук поцелуя. «Ах, ловкач! — подумала она. — Уже с девчонками целуется. Не успела оглянуться, он уже вырос».

- Ты мне нравишься.
- У вас все такие шустрые?
- Какие? — не понял Марио.
- А ну тебя! Так нравится тебе здесь?
- Нравится. Знаешь, у вас все такие ласковые.

Ритка засмеялась:

— Очень ласковые! Скажешь тоже! Ты ж у нас гость. Из Италии приехал! Потому и ласковы. Небось и я к тебе приеду — со мной тоже все ласковые будут.

— Нет,— убежденно сказал Марио.— В Неаполе не разбирают, гость ты или нет. Ты бы у нас не походила так свободно. А тут... Я себе так и представлял Россию. Мне мама говорила: выйдешь в поле — и петь хочется...

У Веры перехватило горло. Она с трудом сдержалась, чтобы не заплакать.

Марио с Риткой снова целовались.

— А ты замуж за меня пошла бы? — громким шепотом спросил сын. Ритка утвердительно хмыкнула.

— Пошла?

— Пошла. Если б ты на Дружной горке жил! — Она засмеялась и побежала. Марио припустился за ней...

Солнце уже начинало пригревать, и озеро потихоньку освобождалось от тумана. Сплошная пелена разрушилась, остались лишь легкие белые зайчики. И казалось, что они плывут по озеру вместе с лодками рыбаков. Стали видны дома на другом берегу, каменная церквушка без купола и слева от нее большой парк. Там было село Орлино. Справа от деревни, наверное, по проселку, упруго и плавно скакали два всадника. Легкие клубы пыли поднимались из-под копыт и висели в воздухе. Всадники подъехали к озеру и спешились. Вера поняла, что это мальчишки пригнали лошадей на водопой. Одна лошадь была совсем белая, другая темная. Издалека было трудно разобрать — черная или темно-гнедая. «Ты, конек вороной, передай, мой родной, что я честно погиб за Советы...» — вдруг вспомнились Вере слова старой песни.

«А ведь скоро уезжать из этой благодати,— подумала Вера и испугалась.— Что у нас сегодня? Понедельник? Билеты на воскресенье». Ей стало грустно. «И почему я должна торопиться? Это Луиджи на работу, он пусть и летит. У меня-то две недели в запасе. А потом...» О том, что будет потом, Вера боялась и думать.

«Марио останется со мной,— решила она.— Ему тоже не к спеху».

Потом они вдвоем с матерью пили чай. Анастасия очень рано уходила на ферму, мужики еще не вернулись с рыбалки. Мишка был в школе. Почти каждое утро у них были такие чаепития. Мать расспрашивала Веру о житье-бытье. Ее интересовали подробности, что дочь готовит на завтрак и обед, бывает ли мясо в магазинах, продают

ли на рынке картошку или приходится есть одни макароны. Вера отвечала обстоятельно, без утайки. Рассказывала и о хорошем и о плохом. Надежда Федоровна огорчалась, что старшему Верину сыну не повезло, не смог получить высшего образования, да и с женьбой вышло наперекосяк. Девочку выбрал легкомысленную, третий год с ней мается. Узнав, что мяса хоть и полно в магазинах, но особенно не разгонишься, дорогое, и чаще чем два раза в неделю Вера мясное не готовит, да и вообще приходится экономить, сказала:

— Ничего, дочка. В нашем доме всегда умели скромно жить. Много — сытно, а мало — честно.

После чаепития Вера помогала матери по дому, кормила приехавших с рыбалки или с охоты Луиджи и Ивана, а потом, когда они, осоловевшие от еды и бессонной ночи, заваливались спать, шла в лес или на озеро.

Почти каждый раз ей встречался по дороге Павел. То на своих серенких «Жигулях», то на велосипеде. Вера сначала думала, что случайно, потом поняла, что Мохов просто подкарауливает ее.

— Привет итальянцам! — всегда говорил Мохов. — Привыкаем к отчим краям?

— Сколько двоек поставили, Павел Георгиевич? — в свою очередь, спрашивала Вера. — И почему вы не в школе?

Чаще всего, обменявшись парой ничего не значащих фраз, они расходились. Только один раз Павел свозил Веру на Дружную горку, показал новостройки, угостил шампанским в маленьком кафе. Но сколько бы они ни встречались — и на улице и тогда, когда Мохов приходил к ним домой, «на огонек», как он всегда говорил, Вера постоянно чувствовала на себе его пристальный взгляд. И были в этом взгляде и укор, и тоска, и надежда, а главное — вопрос.

«Господи, это же наваждение какое-то, — пугалась Вера. — Неужели и правда никого он себе здесь не нашел? Хоть бы влюбился в какую другую!»

Анастасия упрямо твердила ей каждый день:

— Оставайся ты, Верка, дома. Насмотрелась на свою Италию, и ладно. Тут мать, тут вся родня. Случится там что с твоим мужиком — с тоски сдохнешь. Кому ты там будешь нужна? Думаешь, детки позаботятся? Как бы не так. У них своих забот хватит. Муженек тебя постарше. Да и вообще-то бабы дольше живут...

Вера и сама понимала, что старость предстоит ей безрадостная. Она уж молчала, что муж последнее время стал часто болеть. Что-то с печенью. А у него в семье и отец и дед умерли рано. И тоже от большой печени.

Видя, что сестра молчит, Настя наседала:

— Да ты и Луя своего уговори! Ему с тобой-то разрешат! Думаешь, не согласится? Видала, как они с Ванькой подружились — не разлей

вода. Да и нравится ему тут. А нет — так мы тебя за Павла Мохова выдадим. Будешь как королева на «Жигулях» развезжать.

Она пристально посмотрела на Веру и засмеялась:

— Ох, старуха, ты еще краснеть не разучилась! Смотри-ка! Первая любовь, значит, и правда самая верная?

С приближением дня отъезда сладкая пора узнавания и какая-то неизъяснимая душевная благодать в душе Веры сменились тревогой и раздражением оттого, что все в жизни так сложно, что нельзя соединить в одной судьбе то хорошее, без чего трудно быть счастливой, что надо выбирать, а значит, от чего-то отказываться. Вера ходила сумрачная, неразговорчивая и все больше задумывалась над тем, а не остаться ли и впрямь ей в Замостье еще на две недели. Она убеждала себя, что этих двух недель вполне хватит, чтобы соскучиться по тому, другому дому, по Луиджи и уехать веселой и радостной.

«Пойдут дожди, начнется непролазная грязь, надоест мне сидеть дома вдвоем с мамой,— думала Вера.— Захочется на солнышко. Наверное, захочется... Да и чего я переживаю — подумаешь, две недели!»

А ее уговаривали остаться насовсем. И сестра с мужем, и тетка Анна, и Павел Мохов... Только мать ни слова не говорила об отъезде.

Луиджи, казалось, не замечал состояния жены. Все так же мотался с Иваном на его «ИЖе» на охоту и рыбалку. Только стал еще более ласков с Верой и в те короткие часы, когда они были вместе, много говорил о доме, о том, что следует наконец купить машину. Пускай пока и маленькую. Тогда на выходные они будут ездить в Помпею, в Рим и в горы. Съездят на озеро Альбано и в Венецию.

— Хватит нам каждый месяц субсидировать Виктора,— говорил Луиджи.— Пусть он со своей принцессой сам выпутывается. Небось на «фиат» ему хватило, а выплачивать за квартиру должен я! Да и матери можно посылать поменьше. Все-таки пенсию получает.

«Надо мне наконец поговорить с Луи,— думала Вера, с улыбкой слушая мужа.— Пускай знает заранее. Две недели — не срок». И не говорила. Откладывала.

А за два дня до отъезда все решилось само собой. В тот вечер Иван и Луиджи были дома. Пришел Павел.

В доме вкусно пахло печеным — мать только что достала из печи пирог с капустой. Макала куриное перо в растопленное масло и ловко смазывала зарумянившуюся корочку.

На столе уже шумел самовар. Мужчины смотрели телевизор — советская сборная играла с немецкими футболистами.

— Веруша,— спросила мать,— а ты пироги-то своим мужикам печешь?

— Нет, мам. Не пеку. Пробовала, да не получалось. Видать, русской печки не хватает.

— У плохой хозяйки всегда причина найдется,— проворчала Надежда Федоровна.— Помню, девчонками вы с Настей всегда мне помогали. А кусок теста останется, налепите зверушек — и в духовку. Вкусные получались.— Она кончила смазывать пирог и прикрыла его белой бумажкой.— Пускай отойдет. Счас и попьем чайку с мягоньким.— Надежда Федоровна присела на табуретку рядом с Верой и ласково потрепала ее по плечу.

— Эх ты, сестрица,— усмехнулась Анастасия,— до седых волос дожила, а пирога испечь не умеешь! Надо бы погонять тебя у плиты. Все бы вспомнила. Да еще успеем! Муженька вот проводим...— Она сказала последнюю фразу нарочито громко и подмигнула Вере.— Пара неделек будет наша.

Луиджи оторвался от телевизора и с тревогой посмотрел на Настю, потом на жену.

— А что, и верно,— подал голос Иван.— Ей же не на работу. Пусть поживет.— Он хлопнул Луиджи по плечу.— А наскутит — и вернется к тебе. Две недели без жены — ой как хорошо пожить! Правда?

«Ну вот сейчас и решится,— волнуюсь, подумала Вера.— Только мама почему-то молчит».

Она чувствовала, что пристально смотрит на нее Павел, и боялась поднять глаза, а только молила бога, чтобы не покраснеть. «Ведь подумают бог весть что. Настька уже прошлась разок. А чего ради?»

Наконец она справилась с собой и взглянула на мужа. Луиджи словно в размере уменьшился, сидел сжавшись, глядя на нее с такой печалью, что защемило сердце. «Ну что ж это он,— невольно раздражаясь, подумала Вера.— Словно навек расстаемся...» И тут же ей стало стыдно за это раздражение. «А может, и навек, а может, и навек»,— пронеслось у нее в голове.

— Эх, Верка, Верка! — сказала мать.— Поздно теперь учиться пироги стряпать. Будешь своих чернявеньких макаронами кормить... — Она улыбнулась Луиджи. И он ответил ей улыбкой, в которой светилась надежда.

Надежда Федоровна перевела взгляд на дочь, хотела еще что-то сказать, но сердце у нее вдруг зашлось, будто онемело. Несколько секунд старуха не могла продохнуть. «Господи, помилуй,— прошептала мысленно.— Нешто припадок опять?» Но прошло еще мгновение, и она вздохнула полной грудью. Настя метнула на нее испуганный взгляд.

Краска залила Верино лицо. В первый момент она не могла найти что сказать.

— Да уж какие тут пироги...— наконец выдавила она из себя обреченно.— Не выйдут мне две недели. Надо ехать. И хлопот много — билет, виза... А Луи-то один...

Мохов так сжал зубы, что у него побелели скулы. Он встал из-за стола и, коротко бросив: «Я покурить»,— вышел из дому.

Все знали, что Павел Георгиевич никогда в жизни не курил.

Настя уткнулась Вере в плечо.

— Да что с вами, бабы! Как на поминках! — спокойно сказал Иван. — Ведь придет Вера. Раз уж дорожку проторила — придет. Правда, мама?

— Правда, Ванюша, — еле слышно прошептала Надежда Федоровна.

— И Луиджи придет, — продолжал Иван. — Ему наша рыбалка понравилась. Правда, Луи?

— Правда, правда! — оживился Луиджи, и в глазах у него засветилась радость. — Мы с Ваней... Да мы с Ваней... Эх! На озеро, на реку! Рыба, утки! — Он вскочил, яростно размахивая руками. — В Италии леска крепкая. Любая рыба сидит. Мы с Верой приедем. Какие люди здесь! Ваня — мой друг. Мама... — Он вдруг закрыл глаза ладонью, все увидели, как из-под нее текут слезы.

— Это ничего, это хорошо! — Луиджи смотрел на всех с робкой улыбкой, словно просил извинения. — Это хорошо. Мама такая женщина! Добрая. Как мой мама. — Он поклонился Надежде Федоровне и стал целовать ей руки. Потом подошел к жене, обнял ее за плечи и смотрел на всех, довольный, улыбающийся.

Когда они уезжали, моросил мелкий дождь. Долго прощались на терраске. Женщины всплакнули. Настя все твердила:

— Приезжайте, родненькие. Приезжайте...

Повез их в аэропорт на своем «Москвиче» приятель Павла Мохова, учитель литературы Олег Николаевич, сам Павел не пришел даже проститься.

Когда садились в машину, прибежала запыхавшаяся Ритка. Зардевшись вся, сунула в руки Марио огромный букетище астр.

Иван, несмотря на все уговоры, надел брезентуху с капюшоном и тронулся вслед на своем мотоцикле.

Надежде Федоровне после того, как дочь уехала, сделалось плохо. Капли не помогли, тетка Анна, оставив сестру на попечение внука Мишки, бегала в правление, вызывала из Дружной горки «неотложку». А дождь лил не переставая.

РЕКИ ВАВИЛОНА

Вера Ивановна проснулась рано. Небо за окном еще только-только начинало синеть, и смерзшаяся за ночь темень словно подтаивала, подогретая невидимым пока солнцем. На пустынной улице гулко раздавались шаги первых прохожих. С настуженным гудением прополз лифт. Хлопнула дверь парадного, и по асфальту лениво заскребла метла дворничихи. Вера Ивановна ясно представила себе, как загребает метла желтые листья, нападавшие за ночь с большого тополя, что растет рядом с домом.

Ночью она плохо спала. Еще с вечера разболелась голова, но Вера Ивановна принимать пирамидон не стала. Подумала, что уснет и так, а после сна боль пройдет сама собой. Но боль не прошла. И потому, наверное, снились всякие кошмарные сны. Снился муж Анатолий. Как будто она с другими женщинами копает под Колпином окопы, поднимает голову и видит Анатолия, заросшего густой, темной щетиной, опухшего и грустного. Вера Ивановна бросает лопату, хочет выбраться из жидкой глины, но сил у нее не хватает, ноги будто чугунные, не оторвать от земли.

— Толя, Толя! — кричит она и просыпается в испуге.

«Приснится же такое», — подумала Вера Ивановна и, чтобы хоть как-то разогнать окружающую ее тишину, сказала вслух:

— Приснится же такое.

В июне сорок первого Анатолий ушел в ополчение, а в ноябре погиб. Лишь однажды заскочил на час домой, опухший от голода, небритый — такой, каким и увидела Вера Ивановна его сегодня во сне.

Не зажигая света, Вера Ивановна привычно протянула руку, нащупала на тумбочке валидол, достала одну таблетку, разломилась и половинку положила под язык. Уснуть-то уснула, но дурные сны преследовали ее всю ночь. А теперь вот вдобавок от валидола во рту горечь.

По коридору прошелестели легкие крадущиеся шаги, звякнула кастрюля на кухне, тонкой струйкой потекла вода из крана. «Чепикова запорхала», — с неприязнью подумала Вера Ивановна.

Чепикову она не любит. С давних пор. Пожалуй, с сорок четвертого, когда Вера Ивановна поселилась в этой квартире, вернувшись с сыном

из эвакуации. Их дом был разрушен, вселили вот сюда, в крохотную комнатку рядом с кухней. В бывшую людскую. Обещали потом дать что-нибудь получше, да так и не дали ничего. Даже после того как отремонтировали их старый дом на Седьмой линии. Она ходила в исполком, требовала. Имела право требовать — жена погибшего фронтовика. Но зампред исполкома сказал, что дом перепланировали, построили ванные комнаты, которых раньше не было, квартир стало меньше. Потом-то Вера Ивановна наведальась в этот дом, даже позвонила в свою бывшую квартиру. Открыла ей пожилая приятная женщина. Провела по комнатам. Ванну там, правда, сделали, но за счет кухни. В квартире было чисто, стояла красивая мебель. Вера Ивановна на несколько минут задержалась в большой комнате с фонарем. Они любили здесь собирать гостей и подолгу чаевничать. Потом играли в лото, в «девятый вал»...

Женщина предложила Вере Ивановне выпить чаю. Но это было бы слишком тяжело. Она извинилась и ушла. Что было делать? Снова идти к зампреду? Писать куда-то выше? Вера Ивановна махнула рукой. Сын вырос, женился, уехал в другой город. Теперь в этой маленькой комнатке она одна. Хорошо бы, конечно, на старости лет пожить в однокомнатной квартире с ванной. Что, разве не заслужила она всей своей судьбой несколько лет такой жизни? Пришлось бы, конечно, побольше платить квартплату, а пенсия у нее небольшая — всего пятьдесят семь рублей...

Одно время стали говорить, что ленинградцам, пережившим блокаду, дадут отдельную жилплощадь. Веру Ивановну даже вызывали в исполком, внесли в какой-то список, но потом все заглохло. Приходится мириться с соседями. И с Чепиковой приходится мириться. Вера Ивановна даже раскланивается с ней как ни в чем не бывало. Но не любит. Даже тихие ее шаги по утрам раздражают Веру Ивановну куда больше, чем откровенный топот Кирилла, второго соседа. Все эти тихие шаги и приторные улыбки у Чепиковой — неискренние, показные, на публику. Вера Ивановна никогда не забудет, как Чепикова спросила ее однажды на кухне в присутствии других жильцов: «А почему бы вам, Верочка Иванна, не попроситься в дом для престарелых? Там ведь прекрасные условия».

Это ей-то — в дом для престарелых? Слава богу, она пережила здесь, в Ленинграде, самые тяжелые годы. И работала, не отлеживалась дома. Да и теперь у нее сил хватает. И к сыну она могла бы поехать. Что он, не принял бы мать? Правда, не очень-то хорошие отношения сложились у нее с невесткой. Ну и что? Стерпится — слюбится.

Вера Ивановна догадывается, почему Чепикова спит и видит, когда она умрет или съедет с квартиры, — комнатку ее сразу приспособят под ванную.

Хлопнула входная дверь. Это ушел на работу Кирилл. Он всегда уходит первым. Ехать ему далеко, к Нарвским воротам. Кирилл хоть и грубоват, но к нему Вера Ивановна относится с уважением. Вот уж работяга. Уже к семидесяти, а все таскается на свой завод. И пенсию хорошую мог бы получать. Живет один. Три года как похоронил жену.

Вслед за Кириллом ушла Чепикова. Тихонько притворила за собой дверь, подержала для верности. Эта работает директором диетической столовой. Денег у нее, как считает Вера Ивановна, куры не клюют, а жить по-человечески не умеет. Одевается кое-как, только все пальцы в золотых кольцах. Кольца массивные, с большими камнями. Моветон. Куда она это копит? Ни мужа, ни детей. С собой ведь не заберешь! И питается дома кое-как. Раньше, пока кофе еще не подорожал, Вера Ивановна варила себе по воскресеньям. Понемногу, по чашечке. Так Чепикова сказала:

— Как это вы, Верочка Иванна, со своей скромной пенсией умудряетесь натуральный кофе пить? Наверное, еще бабушкины драгоценности продаете?

Никаких драгоценностей, кроме изящного колечка с крошечным бриллиантом — подарка мужа, у Веры Ивановны не было. Все только самое необходимое. И никогда никому не завидовала, не изводила себя оттого, что кто-то из знакомых купил новую шубу или красивую мебель. «Поэтому, наверное, и здоровье у меня до сих пор еще приличное,— думала Вера Ивановна,— а ведь семьдесят семь уже». Чепикова, та всему завидует: увидела как-то у Веры Ивановны колечко на пальце, пристала — продайте. И потом два месяца проходу не давала. Потому-то она и похожа на воблу. Все ей хочется иметь, всем завидует. Висели у Веры Ивановны в комнате две маленькие старинные акварели-марины. Так тоже просила продать. Но Вера Ивановна, когда пришла нужда — собралась однажды к сыну на день рождения съездить, — в комиссионный отнесла акварели, а Чепиковой не продала. Красивые вещи нельзя в плохие руки отдавать. Правда, дали за акварели гроши, еле-еле на дорогу хватило. Сын потом ругался, сказал, что просто-напросто обманул оценщик мать, что акварелям этим сейчас цены нет. «Хотела приехать — написала бы,— сказал он.— Выслал бы деньги». Ну, а чего же писать? Ей хотелось сюрприз сыну сделать. И опять же просить у него деньги — стыдно.

После того как ушла Чепикова, в квартире минут на двадцать установилась тишина. Вера Ивановна, лежа в теплой постели, думала о разном. Одна любила эти утренние часы, когда никуда не надо было спешить, когда можно побаловать себя, поваляться влостью. Всю жизнь Вера Ивановна вставала рано. Когда сын был маленький, надо было успеть отнести его в ясли, потом — в детский садик и успеть к восьми в магазин, где она работала кассиршей. Эту работу она не любила — все на нервах, все в спешке. Вечные очереди. Да и с деньгами не очень приятно иметь дело — то недостаца, то

останется несколько лишних рублей. Как открыли в Ленинграде метро, она ушла работать дежурной. Год просидела у эскалатора на сквозняках. Но здесь платили побольше да и время свободное было. Последние пятнадцать лет перед пенсией Вера Ивановна проработала в театре. Билетершей.

Уже совсем рассвело. Кусочек неба, видневшийся Вере Ивановне с дивана, на котором она лежала, был холодно-голубым. Потом утерял свой льдистый оттенок и чуть позолотился. Вставало солнце. «Наверное, будет хорошая погода,— подумала Вера Ивановна.— Наконец-то. Надоели дожди. И голова у меня с вечера разболелась не зря. К перемене погоды». Она вспомнила, что сегодня у них посиделки в парке. «У них» — это значит у таких же пенсионеров, как и она. Лет пять назад они познакомились. И с тех пор встречаются раза два в неделю. А если погода хорошая, то и каждый день. Познакомились они, конечно, не все сразу. Сначала Вера Ивановна с Лилей Трофимовой. Потом к ним на скамеечку как-то подседа Аня Удальцова.

Аня Удальцова была у них самая молодая. Веселая, энергичная. С ней всегда было интересно. А как быстро сторела! И года не прошло со дня их знакомства. Шестьдесят два стукнуло Анне. За месяц до смерти они побывали у нее на дне рождения. Дома. Такой Аня «наполеон» испекла! И наливки малиновой выпили. Разговорились старухи, раскраснелись. И попели и заплакали.

Анина квартира произвела на всех впечатление. Две комнаты огромные, рояль, книг много, красивые безделушки повсюду. По стенам картины. И все так неназойливо, не напоказ. Все с большим вкусом и тактом. Теперь этого не умеют. Красивые вещи расставят так, чтобы они сразу в глаза бросались, кричали: вот мы какие красивые и дорогие! «Мало осталось настоящих интеллигентов,— говорит Лиля Трофимовна.— Даже в Ленинграде их раз, два — и обчелся». И Вера Ивановна с нею согласна.

Хорошо они отпраздновали Анин день рождения, душевно. Тем более что в гостях-то они друг у друга почти не бывают. Соберутся в парке, поговорят, редко когда в театр вместе сходят — и все. Это у Анны такая хорошая квартира была — она вдова профессорская. Сама когда-то в университете преподавала. А другим гостей и пригласить некуда. Живут все тесновато. Когда собираются вместе да разговоры ведут про свое житье, можно подумать, что у каждой хоромы. Но Вера Ивановна знает, что хоромы эти не лучше ее комнаты. Понадобилась ей однажды Татьяна Константиновна Зевельт. Хотела пригласить ее на балет — в театре дали две контрамарки. Тогда еще нет-нет да подкидывали, не то что нынче. Разыскала Вера Ивановна свою приятельницу, так и сама не рада была. И Татьяну Константиновну в неудобное положение поставила. Правду та говорила, что с дочкой и зятем живет в большой

трехкомнатной квартире, да только сама-то спит в чуланчике без окон. Наверное, когда-то кладовка была. Позвонила Вера Ивановна в квартиру. Долго не открывали. Потом скрипучий мужской голос спросил, кого надо. Узнав, что — Татьяну Константиновну, мужчина открыл, зажег свет в коридоре и, буркнув: «Она у себя», — скрылся за одной из дверей.

Так и осталась Вера Ивановна в растерянности посреди коридора одна. Дверей несколько. В которую стучать? Хорошо, что Татьяна Константиновна услышала, как зять хлопнул дверь, и вышла из своего чуланчика.

А сама она? Разве может пригласить гостей в свою маленькую комнату? Ведь и посадить негде. Стол крошечный. В буфете четыре чашки с блюдцами. Правда, от хорошего сервиза. Кузнецовский фарфор. Вот этот сервиз ей и верно от матери достался. Были и еще красивые вещи, да в блокаду на хлеб сменяли. И не жаль! Слава богу, сами остались живы.

Из кузнецовских чашек она чай не пьет. Бережет. Уже давно сыну сказала: это тебе хоть маленькая память о матери будет.

Вера Ивановна встала. Долго расчесывала длинные седые волосы. Потом аккуратно сложила спальное белье, подушку. Сунула в шкаф. Поднимать диван и укладывать белье туда ей тяжело. Да и порвать можно, а простыни и наволочки уже штопаны-перештопаны. В это время за стенкой мощно взревела музыка. Низкие негритянские голоса запели там что-то про реки Вавилона — проснулся четвертый квартирант, Олег Борзунов, Борзунчик, как звала его Вера Ивановна. Вслед за музыкальной увертюрой сам Олег, напевая себе что-то под нос, прошествовал по коридору. Минуты через две он постучал в дверь:

— Вера Ивановна! Пора вставать! Сейчас будем пить чай. По-то-ро-пи-тесь!

Вера Ивановна улыбнулась. Олегу она симпатизировала. В первых, Олег был похож на Анатолия, а во-вторых, он был добрым, веселым, открытым. Когда три года назад он въехал к ним в квартиру, Вера Ивановна забеспокоилась: молодой, разведенный. А вдруг пьяница? Или хулиган?

Олег не был ни хулиганом, ни пьяницей. Недавно окончил институт имени Репина, развелся. Жил тем, что иллюстрировал книги да время от времени получал заказы от художественного фонда. Любил современную музыку, а так как свободного времени у него было хоть отбавляй, то музыка стала звучать в их квартире постоянно. Прокручивал Олег свои пластинки и кассеты через какую-то мощную и очень дорогую систему, которую он шутя называл «системой си», и Чепикова, объединившись с Кириллом, ходила жаловаться на него в домоуправление. Когда пришла комиссия и Веру Ивановну спросили, мешает ли ей музыка, она ответила, что нисколько. Ей

и правда музыка не мешала. Вера Ивановна радовалась, что наконец-то в квартире нет этой гнетущей тишины, которой она боялась больше всего на свете. Ей не очень-то нравились шумные «ритмы» каких-то «диско» и «рокко», заунывные повизгивания в стиле «кантри». Олег все пытался объяснить ей происхождение этих многочисленных стилей, меняющихся чуть ли не каждый божий день, но Вера Ивановна, улыбаясь, махала рукой и говорила:

— Да ну их, Олежек! Уж коль играют, значит, кому-то нравится. Ну и пусть играют.

Иногда она просила поставить пластинку с песнями Мирей Матье или ту, где так ладно и красиво поют две испанские девицы. Название их ансамбля она никак не могла запомнить.

А вообще-то она любила классику. Любила органные концерты Баха. И здесь их вкусы совпадали. И вот эта чудная и даже чуть-чуть таинственная песня про реки Вавилона ей очень нравилась. Вера Ивановна вспоминала Анатолия, который занимался в аспирантуре и писал диссертацию о памятниках материальной культуры Вавилонского государства.

Комиссия потом приходила еще раз. Чепикова, теперь уже в одиночестве, пожаловалась на то, что Олег водит к себе молодых женщин.

— Неужели ваша Чепикова думает, что я буду ухаживать за ней?— смеялся Олег.— Вот вы, Вера Ивановна, немолодая, красивая женщина. Да еще вдобавок умная! Не считаете ли вы, что я должен приударить за Чепиковой?

Вера Ивановна не считала. Она, улыбаясь, слушала Олега и только просила его:

— Вы хоть раскланивайтесь с нею, Борзунчик. Она же приведет еще двадцать две комиссии. Вас выселят, и мне не с кем будет пить по утрам чай. И потом, Олег, вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня, старуху, но вам бы надо сделать наконец выбор... Прошлый раз вы знакомили меня с такой прелестной блондинкой.

— А! Вам понравилась Алла?— радовался Олег.— Она мне тоже нравится, а Чепиковой — нет. Она так посмотрела на Аллочку, когда мы встретились на лестнице, что бедная моя невеста, придя домой, расплакалась.

— Вам необходим уход, правильное питание,— говорила Борзунова Вера Ивановна.

— Вот женюсь, Вера Ивановна, все будет: и правильное питание и уход. Но Алла как жена отпадает. Она совсем не умеет готовить.

«Есть в нынешней молодежи что-то хорошее,— думала Вера Ивановна.— Вот какие они все рослые, красивые! И знают куда больше, чем знали мы. И радоваться умеют и не скопидомы. А то, что музыка гремит да девчонки ходят... Ну и что? Сама-то Чепикова была молодой или такой сушеной воблой родилась?»

— Вера Ивановна! — Олег снова стучал. — Чай готов. Такого вы еще не пили — моя новая невеста работает в Елисейском.

Под рев каких-то западных цыган они пили чай, болтая о всяких пустяках. И Вере Ивановне было легко и свободно разговаривать с Олегом, расспрашивать его о современных художниках. Она чувствовала, что и Олегу интересно слушать о ее молодости, о том, как молодые девчонки бегали слушать Блока. Потом осаждали концертные залы, где пел Печковский.

«А Володя мой никогда меня об этом не расспрашивал, — думала Вера Ивановна. — Почему? Жизнь тогда была труднее, что ли?»

— Вот когда я женюсь и мне не придется тратить время на ухаживания за невестами, — часто говорил Олег, — я, Вера Ивановна, обязательно напишу ваш портрет. Пошлю на выставку. И пресса его заметит. И возвестит, что «Портрет ленинградки Веры Ивановны» работы известного художника Борзунова — гвоздь сезона!

— Когда вы женитесь, Борзунчик, — грустно отвечала ему всегда Вера Ивановна, — меня уже не будет...

В сентябре — точнее предугадать трудно — в Ленинграде обязательно устоит несколько чудных солнечных дней. Стихает свежий ветер с Финского залива, прекращаются дожди, и Нева застывает между опрокинутыми в воду и размытыми легкой дымкой берегами. Особенно хорошо в это время на Каменном острове. Обязательно в будний день, обязательно утром. Если сесть на скамейку где-нибудь недалеко от легкого, холодновато-белого, словно тронутого инеем Летнего театра, то можно услышать, как с жестким шорохом падают с деревьев желтые листья. Город шумит приглушенно. Только время от времени застонут где-то вдалеке тормоза автомобиля да, словно дятел, задобит автоматический молот, загоня в землю сваи.

Туда, на Каменный остров, поехала сегодня Вера Ивановна, радуясь неяркому солнцу, ленивому туману над Невой. Народу в трамвае было немного. Вера Ивановна удобно села и поглядывала на мелькавшие за окном серые, давно не крашенные дома Среднего проспекта. Потом трамвай помчался по Тучкову мосту, мимо речного вокзала, мимо больших пассажирских пароходов. Вера Ивановна с удовольствием вспомнила, как ездили они на парходике в Петродворец. Это было в прошлом году. Тогда еще к ним на Каменный ходила Тая Викторевна, худая, всегда подтянутая, с большим узлом черных крашенных волос на затылке. Красивые ноги, а главное — походка сразу выдавали в ней бывшую балерину. Одевалась Тая Викторевна со вкусом, и только внимательный взгляд мог заметить, что все ее красивые вещи давным-давно перелицованы, перешиты и кое-где подштопаны. Уж это-то Вера Ивановна видела сразу. Да и не только она — все они, старые ленинградки, отводившие душу в разговорах, не слишком были заласканы жизнью. Каждая по себе знала, с каким трудом удается дотянуть от пенсии до пенсии. Но говорить об этом

никто не говорил. Даже наоборот. С каким неподдельным восторгом рассказывал кто-нибудь из подруг на очередных посиделках в парке, что на днях получила письмо от дочери или перевод от сына:

— Не много, конечно. Но к моей пенсии серьезная прибавка.

И в доказательство вытаскивала из сумки или обыкновенной авоськи белую коробочку с пирожными. Конечно, от «Норда»! И, конечно, самые свежие.

Это могли быть и маленькие бутерброды с сервелатом. А сервелат непременно покупался в Елисеевском магазине. Даже в том случае, если приходилось выстаивать ради ста граммов огромную очередь.

Все восторгались, хвалили заботливую дочку или сына, с удовольствием ели пирожные, запивая их кофе из маленьких стаканчиков.

Кофе — это была традиция. Они приносили его по очереди в большом китайском термосе, который подарила им покойница Аня Удальцова.

И Тая Викторовна приносила пирожные от «Норда» — они обязательно говорили «Норд», а не «Север», — приносила и расхваливала своего сына, который жил с нею вместе и был очень заботлив и внимателен. Но однажды Тая Викторовна не пришла к ним на Каменный, на заветную скамеечку, хотя и погода стояла прекрасная и ее очередь была принести кофе. Не пришла она и в следующий раз. А когда Татьяна Константиновна Зевельт заглянула к ней домой на Староневский, то сын сказал, что Таю Викторовну удалось поселить в Дом ветеранов сцены. Она очень довольна. Дом такой фешенебельный, живетя там славно. И отдал Татьяне Константиновне китайский термос.

В один из дней подруги сговорились встретиться не на Каменном острове, а в парке около стадиона Кирова. Дом ветеранов сцены был там рядом. Но Таю Викторовну они повидать не смогли. Дежурная сходила за ней, но вернулась одна:

— Тая Викторовна неважно себя чувствует. Она не сможет с вами встретиться.

Всем было грустно. Подруги шли по пустынным аллеям парка и молчали, стараясь не глядеть друг другу в глаза. Они хорошо понимали Таю Викторовну.

— Она ведь там не одна, — сказала после долгого молчания Вера Ивановна. — Найдет себе подруг.

Одиночество. Больше всего они боялись одиночества, одинокой старости. Потому и собирались, однажды разговорившись случайно в парке, потому и держались друг за друга. И вели нескончаемые разговоры о детях, живших своей, особой, конечно же, интересной жизнью. Счастье детей было для них главным, наполняло их сердца радостью, чувством исполненного долга. Ну и что из того, что к этой радости примешиваются капельки горечи? Это ведь их горечь, горечь, которой они не делятся ни с кем, и она даже помогает им жить,

чувствовать, что они еще сильны. Сильны, раз эта горечь не смогла отравить последние годы их жизни. И они радуются жизни, радуются хорошим погожим дням, красоте осеннего парка, веселому смеху играющих на аллеях детей, чудным ритмам песенки «Реки Вавилона».

Трамвай все мчался и мчался по своему вечному маршруту, входили и выходили люди, от остановки к остановке, по мере того как трамвай приближался к кольцу, к своей конечной станции, людей становилось все меньше и меньше. Веру Ивановну утомило мелькание домов, улиц, автомашин. У нее слегка закружилась голова, и она прикрыла глаза. Ей вдруг показалось, что она, совсем молодая и легкая, едет на этом же трамвае, на тот же самый Каменный остров, на гребную базу, где ждет ее Анатолий. Они сядут на остроносую, поблескивающую коричневатыми лаковыми боками двойку и легко заскользят по невской глади...

На кольце молодая вагоновожатая, взяв свой маршрутный лист, пошла к диспетчеру, тоже молодой и симпатичной. Минуты три — расписание позволяло — они поболтали о каких-то своих мелких делах. О том, что в магазинах пропали хорошие колготки, что в модной парикмахерской при Октябрьской гостинице насидишься в очереди, прежде чем попадешь к хорошему мастеру.

— Ну, мне пора! — поднялась со стула вагоновожатая. — Теперь еще два круга — и пересменка.

Она вышла из диспетчерской и пошла к своему трамваю. И тут заметила, что во втором вагоне сидит какая-то женщина. «Заснула, что ли?» — подумала вагоновожатая.

— Гражданка! — тронула она за плечо седенькую аккуратную старушку в шляпе из черной соломки. — Гражданка, мы давно приехали!

Но Вера Ивановна уже ничего не слышала.

ВЕНЕЦИЯ, ВИД С МОЛО

Поезд Рим — Триест отходил от вокзала Термини в десять тридцать вечера. За полчаса до отправления мы попали в пробку, и надо мной вполне реально нависла угроза опоздания.

— Володя, погоди им, — попросила мужа Лидия Николаевна, с беспокойством вглядываясь в армаду застрявших перед нами автомашин. Она жила в Риме третий месяц и, попав в автомобильную ловушку, остро переживала состояние бессилия и обреченности.

Владимир Афанасьевич, представитель нашего «Интуриста», лишь улыбнулся и покрутил головой.

С истошным завыванием, чудом прокладывая себе дорогу, медленно двигалась полицейская машина. Синие отсветы мигалки причудливо изменяли тона, отражаясь на желтых, красных, зеленых, черных машинах. К сиренам полицейских автомобилей, то и дело проносющихся по Риму, привыкнуть было невозможно. Не знаю как уж там подбирают тембр этих сирен, но их высокий — на одной ноте — долгий вой вселял чувство тревоги и надвигающейся беды.

Внезапно, словно кто-то открыл в нужном месте заслонку, поток автомобилей двинулся, набирая скорость. Пять минут бешеной езды, пятнадцать минут поиска места для стоянки — и мы под сводами огромного вокзала.

— Перейдете через Большой Канал, спросите, как найти площадь Рима, — говорит Владимир Афанасьевич. — Там недалеко и ваш отель.

Лидия Николаевна протягивает полиэтиленовую сумку.

— Здесь яблоки и апельсины. В дорогу...

Мелодичный перезвон по вокзальному радио. Поезд Рим — Триест отправляется... Медленно проплывают мимо станционные постройки, темные составы. Потом какие-то пакгаузы, мрачные, без единого огонька, кирпичные дома. Даже не верится, что еще несколько часов назад я бродил у Колизея, поднимался на Авентийский холм, ехал по блещущей огнями виа Национале.

В купе сидячего вагона только двое попутчиков. Пожилая грузная женщина в черном платье. Доброе лицо омрачено страдальческой гримасой — у нее опухают ноги. Женщина искоса поглядывает на

меня и на другого соседа — молодого стройного мужчину с напомаженными волосами и идеальным причесом, — пытается определить, удобно ли в нашем присутствии снять туфли. Наконец, решив, что удобно, она, тяжело вздохнув, сбрасывает их и, поймав мой взгляд, чуть виновато улыбается. Молодой мужчина раскрывает свой «дипломат», достает пачку бумаг и с серьезным видом углубляется в их изучение. Но не проходит и получаса, как мужчина складывает назад в чемоданчик бумаги, аккуратно расправляет шлицы пиджака и, усевшись поудобнее, засыпает. Я гашу свет. Ехать всю ночь — поезд прибывает в Венецию в шесть утра, — но спать не хочется. Меня все больше и больше одолевает нетерпение, желание поскорее увидеть гондолы на каналах, знаменитый Палаццо Дукала — Дворец Дожей, о котором я столько читал и столько раз видел его на фотографиях и на картинах.

Мы не властны в своих воспоминаниях. Они приходят самым неожиданным образом, чаще всего тогда, когда мы их не зовем. И могут воскресить события, о которых мы не вспомнили ни разу в жизни.

Так случилось и со мной — я вспомнил Венецию моего раннего детства...

В детстве я слышал о Венеции, наверное, больше, чем о любом другом иностранном городе. Еще не подозревая о том, что она существует, я уже знал, что такое «венецианские окна» — такие окна были в нашем доме на Третьей линии Васильевского острова. На том же этаже, что и мы, в квартире напротив, жили две сестры и брат. Ольга Ивановна, Мария Ивановна и Алексей Иванович. Мои родители, уходя изредка вечером в гости или в театр, оставляли меня со стариками. Впрочем, стариками я называю их условно: мне было шесть-семь лет, и все люди старше тридцати казались мне пожилыми.

Почему они жили одни, я не знаю: родители никогда при мне о соседях не говорили. В моей памяти даже не сохранилось их фамилии. А скорее всего я и не знал ее.

Пребывание в квартире напротив было для меня всегда праздником. Больше всего я любил Марию Ивановну, самую старшую из них. Радужная и ласковая, она усаживала меня за большой обеденный стол и вытаскивала из шкафа альбомы с открытками, на которых были изображены города мира. Мы перелистывали страницу за страницей, шумно обсуждая проблему, в каком городе интереснее жить, и Мария Ивановна неизменно останавливалась на Венеции.

— После нашего Васильевского острова, — говорила она, положив мне на плечо свою легонькую ласковую руку, — я могла бы жить только в Венеции.

А мне хотелось в Лондон, мама читала мне Конан Дойля, и я знал, что Шерлок Холмс живет там на Бейкер-стрит. Жить в одном городе со знаменитым сыщиком мне казалось большим счастьем.

Мы с таким увлечением обсуждали с Марией Ивановной проблемы нашего будущего места жительства, что из другой комнаты выходила молчаливая Ольга Ивановна. Некоторое время она слушала наши препирательства молча, потом вдруг вынимала из альбома какую-нибудь открытку и говорила:

— А эту Алеша написал нам из Парижа... Помнишь, Маша? Мы так долго ждали. Волновались... «Не волнуйтесь за меня, красули, целыми днями пропадаю в Лувре. Деньги есть. Да здравствует луковый суп!»

Сердце мое замирало. Но не от чтения поблекших строчек, написанных фиолетовыми чернилами, — на открытке была марка. Женский профиль в непонятном мне головном уборе. Недавно я начал собирать марки и не мог смотреть на них равнодушно. Но как ни горели мои глаза во время этих «путешествий» по городам и странам, язык мой не поворачивался попросить Марию Ивановну содрать марку с открытки. Вряд ли я понимал, как дорожат сестры открытками, — просто боялся Алексея Ивановича.

...Венеции был посвящен целый альбом. Как сейчас помню, на его пухлой обложке красовалась крошечная картинка с видом на Дворец Дожей.

— Вот это площадь Святого Марка, — показывала мне Мария Ивановна. — Это Гранд Канал. Гранд — значит большой, — тут же поясняла она. А Ольга Ивановна опять вынимала одну из открыток и начинала читать:

«Милые мои красули — что за чудо этот город! Писал бы да писал, не отрываясь на сон и еду. Особо красива площадь Сан Марко. В скуоле Сан Рокко открыл для себя настоящего Тинторетто...»

— Тинторетто — итальянский художник, — шептала мне Мария Ивановна. — Жил четыреста лет назад.

«...Очень скучаю, — продолжала читать Ольга Ивановна. — Как-то поживают мои красули и мой Питер?»

Один раз я попал к соседям днем. Мария Ивановна провела меня в большую комнату, увешанную картинами. Алексей Иванович, с которым я встречался очень редко и никогда еще не разговаривал, стоял у мольберта. Не помню, писал ли он или готовил холст. Я был взволнован тем, что меня ввели в святая святых, и мало что замечал вокруг.

— А мы пришли к тебе в гости, Алешенька, — сказала Мария Ивановна.

Алексей Иванович повернул свою большую голову, улыбнулся:

— А-а... Сосед. Добро пожаловать... — И снова занялся своим делом. А мы переходили от одной картины к другой, и Мария Ивановна вполголоса рассказывала мне о них. На нескольких картинах были изображены венецианские пейзажи. Я помню только яркие, красочные тона и голубое-голубое небо.

— Ну, видишь, как красиво? Что твой мрачный Лондон! — сказала Мария Ивановна. — То ли дело Венеция. Вот где жить интересно.

— Не слушай, сосед, тетю Машу! — вмешался вдруг Алексей Иванович. — Уже если где и жить, так в нашем Питере! На Третьей линии. Лучшего места не придумаешь!

Когда началась война, Алексей Иванович ушел на фронт. Мария Ивановна и Ольга Ивановна эвакуироваться отказались, остались в городе. Я думаю, они бы выжили — неприспособленные, аскетического склада, — но пришла похоронка на брата. Это подкосило сестер. В январе сорок второго умерла Мария Ивановна. А Ольга Ивановна не выдержала, кончила жизнь самоубийством. Об этом я узнал только в апреле сорок второго, когда сандружинницы вскрыли квартиру соседей.

...Я все-таки уснул и проснулся от резкого толчка — поезд отходил от какой-то станции. Названия я не успел прочесть — в пред-рассветной фиолетовой мгле уже мелькали пригороды спящего города. Попутчики мои вышли где-то по дороге. В купе было пусто и холодно. Я попытался включить отопление, но кран не работал. Внезапно перед глазами открылась широкая водная гладь. Вдали на рейде маячило несколько судов — еще с не погашенными огнями на мачтах. Совсем рядом со мной катил по шоссе пустой автобус. Я прочитал на маршрутной доске: «Венеция — Местре — площадь Рима». Мы ехали по знаменитому четырехкилометровому мосту Ферровия, соединившему Венецию с материком, а справа и слева темнели воды еще спящей лагуны.

На вокзале Санта Лучия с поезда сошло лишь несколько пассажиров. Три пожилых японца, увешанные фотоаппаратами, остановились рядом со своими чемоданами на грязноватом перроне и растерянно озирались по сторонам.

— Это Венеция? — спросил один из них по-английски, когда я проходил мимо. Я кивнул. Японец что-то сказал своим спутникам. Они взяли за чемоданы и несмело, словно чем-то разочарованные, пошли вдоль перрона.

Я вышел на привокзальную площадь. В нескольких шагах, рябой от мелкого косога дождя, рассеченный надвое отчаянно дымившим пассажирским пароходиком, плескался Большой Канал. Мокрые, потемневшие дома вдоль набережной выглядели неуютно. Редкие пассажиры, поеживаясь, разбредались с вокзала. Я вспомнил напутствие Владимира Афанасьевича, перешел через горбатый мост, свернул направо и через несколько минут стучал в двери отеля «Канал». Стучать мне пришлось долго. Наконец, усатый здоровяк портье впустил меня в холл, убрал с дивана подушку и клетчатый плед, раскурил трубку, и только тогда на его лице появились первые признаки осмысленности.

Оказалось, что номер забронирован лишь с одиннадцати утра и ни одного свободного места в отеле нет. Портье показал мне комнату, где можно было привести себя в порядок, и через полчаса, оставив чемодан в гостинице, я шагал по городу.

Я ехал в Венецию с вполне сложившимися представлениями о том, что меня здесь ожидает. Город-сказка, город-легенда, где приедем не остается ничего другого, как ходить и восторгаться легкими гондолами, скользящими по водам лагуны, великими художниками и знаменитыми архитекторами, слава которых прочно утвердилась в умах человечества. «Царьградских солнц замкнув в себе лучи, ты на порфирах темных и агатах стоишь, согбен, как патриарх в богатых и тяжелых ризах кованой парчи...» Так писал русский поэт о соборе Святого Марка, и мне не терпелось поскорее увидеть эту «розу Византии».

Я шел по улочке, такой узкой, что косой дождь достигал зданий лишь на уровне второго этажа, а плиты мостовой были почти сухими. Впереди меня из подъезда вышел мужчина с огромным боксером. Мужчина поднял голову и неприязненно посмотрел на белесую полоску неба, просвечивающую между домами. Наверное, эта белесая полоска не доставила ему радости, и, подняв воротник, мужчина, ссутулясь, пошагал по улочке. Пес все время оглядывался на меня, и мужчина нетерпеливо дергал поводок. Я легонько свистнул. Боксер словно только и ждал от меня хоть маленького знака внимания к своей особе. Он весело твякнул и, уже не оглядываясь, спокойно потрусил рядом с хозяином.

Время от времени я упирался в каналы, такие же узкие, как и улицы, и с беспечностью человека, которому некуда спешить, шел по набережной до первого мостика. Несколько раз меня угораздило попасть в настоящие каменные мешки с одним-двумя окошками на третьем-четвертом этаже. Облупленные стены, грязь, мутно-зеленые воды каналов и противный, непрекращающийся дождь точно сговорились помытарить меня по трущобам, прежде чем выпустить на туристские тропы.

Вскоре я вышел на улочку пошире. По обилию магазинов, еще безжизненных, с опущенными жалюзи и решетками на заполненных богатой сувенирной мишурой витринах, можно было догадаться, что улочка из главных. На табличке было написано: «Mercherija». Я вспомнил, что не прочитал ни одной книжки, ни старой, ни современной, где не поминалась бы эта Мерчерия, центральная улица Венеции с самыми дорогими магазинами. Отсюда до Сан Марко и Моло — мола перед Дворцом Дожей — было уже рукой подать.

...Я сел за столик небольшого кафе, расположенного на набережной. Прямо передо мной рябили волны лагуны. Дождь наконец-то прошел, и над водой стелился легкий туман. Солнце высветило

строгий силуэт зданий на острове Сан Джорджо — белоснежную церковь Сан Джорджо Маджоре и стройную красноватую колокольню.

На набережной пробуждалась жизнь. Не так далеко двое художников, хмурых, с помятыми лицами, приладили свои мольберты. На штативе от фотоаппарата уже красовались написанные акварелью и углем виды города: «Собор Сан Марко», «Палаццо Дукала», «Лагуна и остров Сан Джорджо»...

Один из художников, с огромной гривой черных волос, развевающихся на ветру, одетый в выдавшую виды теплую куртку из искусственной замши, долго дул на пальцы, грел их, засовывая ладони под мышки. Потом прикрепил к мольберту лист ватмана и, даже не скосив глаза на то, что собирался писать, быстрым и точным движением нанес первые штрихи. Лицо его было все так же хмуро и меланхолично, художник словно понуждал себя делать необходимое, но совсем безразличное ему дело.

«Что же у него получится? — подумал я. — Вариация на тему «Дворец Дожей и лагуна»?»

Он рисовал, наверное, около часа. И за все это время ни разу не посмотрел на дворец, который с каждым движением руки все ярче и ярче утверждался на ватмане. Наконец, художник сделал последний штрих, положил в коробку кусок угля и чуть отстранился от рисунка. По его лицу нельзя было понять, нравится ему работа или нет — ни улыбки, ни легкого движения губ, ни вдоха облегчения... Достав из голубой холщовой сумки банку пива, он деловито открыл ее и с наслаждением выпил. А я смотрел на его произведение со смешанным чувством восхищения и грусти. Можно было сантиметр за сантиметром сравнивать рисунок с оригиналом и нигде — даже в тончайших линиях капителей легких колонн — невозможно было найти разночтения. Архитекторы будущего смогли бы с полным основанием судить по рисунку уличного художника об этом уникальном образце пышной венецианской готики, об этом фантастическом чуде архитектуры. Не было только одного — легких солнечных лучиков, разрезавших голубую тьму лоджий, да маленькой девочки в красном платье, бежавшей по Пьяцце, поднимая в прозрачный воздух тучи сизых голубей...

Набережная постепенно заполнялась туристами. Еще два-три художника заняли позиции на Моло. Чувствовалось, что они давно знакомы друг с другом, как знакомы рабочие фабрики, изо дня в день работающие на одном конвейере. Легкий кивок головы, рука, поднятая в приветствии, несколько фраз о дожде, распугавшем туристов, и работа, работа.

Я не торопился уходить с набережной. После узких щелей венецианских улиц, грязных, пахнущих сыростью и нечистотами каналов и каналцев, здесь, на берегу лагуны, был настоящий праздник красоты и света, свежего морского ветерка, треплющего

флаги на гигантских флагштоках возле собора Святого Марка. Казалось, стоит уйти с набережной, и снова небо затянут тучи и пойдет холодный дождь. Мне даже не очень хотелось идти в музей. Гид все равно начнет рассказывать о том, что давно известно, или по крайней мере то, о чем можно прочесть в книге, думал я. А вот о том, как пахнет свежий ветер с моря, как спорят гондолеры за бутылкой вина, разложив тут же на набережной свою снедь, о том, как живет город, чуть согретый апрельским солнцем, не прочтешь нигде. Это нужно увидеть.

Еще один художник заинтересовал меня. Он пришел позже всех и долго выбирал место, таская за собой огромную кожаную сумку на колесиках. Пожилой, подтянутый, с короткими — ежиком — седыми волосами, он выделялся из довольно живописной когорты собратьев своей обыкновенностью. Обычный горожанин в грубошерстном костюме, в серой рубашке с темным галстуком... Только глаза у него были тревожными. И это тоже отличало его от других художников, спокойных, меланхоличных, внешне равнодушных. На подставке у него висело только две готовых работы. Две пастели. В них чувствовалось настроение, праздничность. И бросалась в глаза одна особенность, которую мне трудно было объяснить: остров Сан Джорджо с собором и колокольней, огромный собор Санта Мария делла Салуте словно бы надвинулись на зрителя, художник стянул их своей волей в тугой узел, отчего картина получилась насыщенной и собранной.

Художник долго не мог начать работать. Два или три раза он перевешивал картон, двигал мольберт. Потом вдруг вскакивал и начинал вышагивать взад и вперед по набережной. Что-то беспокоило художника, какая-то тревога мешала ему обрести равновесие. Наконец, он сел, взял в руки карандаш пастели. Но в эту минуту рядом с его мольбертом остановилась сухая, выбеленная временем и красками старуха в кокетливой соломенной шляпке. Она что-то спросила у художника и показала на готовые картины. Наверное, спросила, сколько стоят. Художник резко обернулся — лицо у него сделалось злое — и показал на бумажку с ценой, прикрепленную к картине. Там стояла цифра «20 000». Старуха смерила художника презрительным взглядом и медленно двинулась дальше. Скорее всего ей пришлось не по вкусу его резкость. Цена-то была мизерная...

А художник опять сидел словно в прострации, так и не сделав ни одного штриха.

Мелодичные, чуть хриловатые звуки колокола вдруг заполнили площадь, набережную, все вокруг. Непреклонные «мавры» с Часовой башни возвестили полдень...

Я вернулся в гостиницу часов в пять. Усатый портье, попыхивая короткой трубкой, вручил мне огромный, точно от городских ворот,

ключ. А в номере, узком, как купе вагона, даже одному было трудно повернуться. Окно с закрытыми жалюзи выходило в какой-то сумрачный дворик, лампочка над умывальником не горела, ковер был прожжен в нескольких местах. Зато огромная, с бронзовыми шарами кровать звала прилечь. Где-то совсем недалеко негромко и неназойливо опять звонили колокола. Скопившаяся за последние дни усталость, быстрая смена впечатлений, постоянное недосыпание — все навалилось на меня разом. Я лег на кровать, решив отдохнуть хоть пять минут перед обедом, и заснул. Несколько раз я просыпался и каждый раз слышал колокольный звон. То ли так долго звонят к вечерне — мелькала ленивая мысль, — то ли я не проспал и двух минут...

Снился мне жаркий июльский день. Я выхожу из леса с корзинкой ранних подосиновиков, а передо мной огромное поле пшеницы на крутом взгорке. Жаркий ветер гонит по полю плавные волны, воздух напоен запахом колосющихся хлебов и полевых цветов. На горизонте, раскрашенные, как арбузы, высятся купола церкви и несется над полями тихий колокольный звон. Там, впереди, село, где родилась моя мать, где с самого раннего детства купался я вместе с другими мальчишками в холодной прозрачной воде реки Оредежа, ходил за ягодами и грибами, водил коней в ночное...

Проснулся я рано утром... Сквозь амбразуру окна виднелся яркий лоскуток неба. То и дело набегали облака, и небо темнело. И в номере сразу становилось мрачно и неудобно...

Мне захотелось скорее на набережную, туда, где свежий ветер с моря, где много солнца.

На Моло все было, как и вчера. Гулко хлопали наполненные ветром флаги, со свистом резали воздух тучи голубей. Все те же художники писали все те же ведуты — городские пейзажи. Только все вокруг — набережная, площадь Св. Марка, Пьяццетта — все было заполнено туристами. Словно упругой волной вынесло их из сотен мрачноватых отелей и узких улиц города на берег лагуны.

Вокруг мольбертов толпились любопытные. Правда, никто не покупал. Люди словно хотели, прежде чем выложить деньги, убедиться, что рисунки рождались здесь же, на набережной, и на них затрачены время и труд. Я уже прошел мимо, но рисунок на одном из мольбертов заставил меня вернуться. Мне вдруг почудилось в нем что-то очень знакомое и близкое. И совсем не здешнее. Не помню точно, но, кажется, я подумал о галлюцинациях человека, начинающего скучать по дому. Нет, никаких галлюцинаций не было. С неоконченного рисунка смотрел на меня мой родной город... Светилось ласковое утро, плыл над Невой легкий туман, и вместе с ним плыла подтаявшая в дымке и потерявшая свою строгость Петропавловка...

Прежде чем окончательно поверить, что на рисунке Нева и Петропавловская крепость, я взглянул на лагуну, на остров Сан Джорджо. Над розовато-голубой гладью кое-где тоже клубились

зайчики утреннего тумана, но силуэт прекрасной церкви знаменитого, Андреа Палладио даже отдаленно не напоминал мне неповторимый силуэт творения другого итальянца — обрусевшего Доменико Трезини, Андрея Петровича Трезини, — силуэт, украсивший город на Неве.

Я посмотрел на художника. Это был пожилой мужчина, рисунки которого так понравились мне вчера. Его пастели и сегодня висели на подставке непроданными. К ним прибавилась еще одна — бесконечные аркады трехэтажного здания Старых Прокураций, примыкающего справа к Часовой башне, а слева словно растаявшего в голубом сумраке вечера.

Лицо художника было сосредоточенным и хмурым. Не обращая внимания на суетолюку, царящую на Моло, он весь углубился в работу. Иногда худая и загорелая его рука вдруг замирала на несколько мгновений в воздухе, словно не зная, куда опустить толстый карандаш. Мне бросилась в глаза предательская бахрома на рукаве выношенной серой рубашки, и я поспешно отвел глаза, испугавшись обидеть художника своим нескромным взглядом.

Сначала у меня мелькнула мысль, что передо мной советский художник, приехавший в командировку. Сколько наших знаменитых соотечественников черпали вдохновение, изучая шедевры итальянских мастеров, «расписываясь» на полных мягкой прелести пейзажах Аппенин. Но маленький листок с цифрой «20 000» на его пастелях красноречиво свидетельствовал совсем о другом.

— Вы русский? — спросил я, когда рядом с его мольбертом не осталось ни одного прохожего.

— Ну и что из этого? — Он не оторвался от работы, не повернулся ко мне.

Я сразу вспомнил, как сердито срезал он вчера старуху-туристку, спросившую о цене рисунков.

— Ничего... Увидел необычный для Венеции пейзаж и спросил. Я сам из Ленинграда...

Художник не ответил. Но я чувствовал, что мое присутствие раздражает его. Словно бы невзначай он опустил руку, в которой держал пастель, спрятав в рукав пиджака затрепанный манжет рубашки. Он ждал, когда я уйду.

— Да, этот пейзаж ни с чем не сравнишь, — сказал я примирительно.

Он опять ничего не ответил. «Наверняка, какой-нибудь эмигрант!» — подумал я. — Нос от земляков воротит, а рисует-то Питер! Нахонец, художник не вытерпел моего присутствия и, повернувшись ко мне, сказал не зло, нет, но с надрывом:

— Оставьте меня в покое! Идите в музеи, идите в магазины. Отоваривайтесь культурой и шмотками, пользуйтесь случаем!

Его лицо было загорелым от долгих сидений на набережной, но и сквозь загар проступала краска. На лбу сошлись в какой-то

страдальческой гримасе три глубоких морщины, как будто минутное общение с соплеменником доставило художнику глубокое огорчение.

Я повернулся и пошел по заполненной людьми набережной, туда, где зеленел парк Венецианской Биеналле...

На одном из широких горбатых мостов сидел нищий — прилично одетый мужчина — и играл на небольшой дудке. Если бы не кепка с горстью монет, лежавшая перед ним, трудно было бы представить, что человек просит подаяние. Играл он энергично, громко. Одна итальянская мелодия, другая... И вдруг неожиданно — «Полюшко-поле»... Шли по венецианской набережной туристы: японцы, американцы, англичане. Изредка бросали в шапку нищему монетки, чаще — фотографировали его. А нищий итальянец играл невесть как залетевшее в этот самый морской из всех морских городов русское «Полюшко-поле». Я тоже бросил несколько монеток в шапку, но фотографировать не стал. Зачем? Зачем сыпать соль на открытую рану, зачем показывать лицо человека, попавшего в крайнюю нужду, когда знаешь, что сотни и тысячи других, только более сильных, переносят свое горе и нужду в одиночестве.

Вечером я опять пришел на набережную. С моря дул резкий, прохладный ветер, за столиками возле ресторанов было пусто, лишь редкие парочки сидели с бутылками пива или вина, сдвинув стулья и обнявшись. Я зашел в маленькую пиццерию. Народу здесь было немного: несколько пожилых итальянцев, три лохматых девицы, судя по одежде и прическам, хипующие туристки. А рядом с маленьким столиком, куда я сел, оказался тот самый художник с Моло и приятная черноволосая женщина. Перед ними стояла большая оплетенная бутылка кьянти, пицца, тарелка с горой мелких устриц. Я заметил, что лицо у художника уже не такое отчужденное, как днем. Оно подобрело, разгладились резкие складки на лбу. Он что-то с улыбкой рассказывал женщине.

Гладкий вежливый официант принял у меня заказ, тут же поставил передо мной бутылку минеральной воды, виртуозно быстро пронесся между столиками с подносом, на котором стояла рюмка виноградной водки.

Художник узнал меня и что-то шепнул своей соседке. Женщина взглянула в мою сторону и, улыбнувшись, сказала:

— Батюшка.

— Не батюшка, а товарищ, — поправил ее художник и спросил меня:

— Проголодался, земляк?

Я кивнул.

— Ты живешь в Ленинграде? — поинтересовалась женщина.

— Жил. Теперь в Москве. Откуда вы знаете русский?

Она улынулась и показала два пальца:

— Два года учила в школе.

Художник разлил вино, и не дождавшись, пока женщина поднимет бокал, выпил. Выпив, он исподлобья посмотрел на меня, улыбнулся каким-то своим мыслям, налил снова и сказал:

— Осторожничайте. Не пьете в чужой стране...

Я кивнул на рюмку граппы. Художник поморщился и, подняв бокал, слегка прикоснулся им к бокалу своей соседки. И снова выпил до дна. Было видно, что он захмелел. Наверное, он пил еще и раньше. Может быть, днем на набережной.

— Ну как там, в Ленинграде? — спросил он. Пьяная интонация явственно чувствовалась в его голосе.

— Хорошо. Скоро пойдет ладожский лед...

— Я — Анна-Мария, — сказала женщина и улыбнулась, показав на себя пальцем, на котором красовалось маленькое изящное колечко. — А вы?

Я назвал свое имя.

— А кроме ладожского льда, там ничего нового? — Художник явно задирался. — Все те же сфинксы у нашей академии? — Он снова налил себе полный бокал, но Анна-Мария не дала ему выпить до дна. Художник поцеловал ее руку, задержавшую бокал, и улыбнулся. Улыбка у него была сейчас добрая.

— Я живу здесь легко и весело. Пишу, что захочу...

— Пьяцца, Пьяццале, лагуна и Моло, Моло, лагуна, Пьяццале и Пьяцца. — Анна-Мария засмеялась.

Он посмотрел на нее с укоризной. Потом перевел взгляд на меня.

— Поедешь в свой Ленинград?

Я не ответил. Он некоторое время пристально рассматривал меня. Потом вздохнул и спросил тихо:

— Вы знаете улицу Халтурина? Бывшую Миллионную... Я там жил... Дом номер пятнадцать, четвертый этаж. Она всегда стоит у меня перед глазами...

— Кто?

— Нева! — Он широко развел руками. — Утром, днем и вечером. — Он встал из-за своего столика, подсел ко мне. — Понимаете, мои окна выходили на Неву. В детстве сидел за столом, решал задачки по Фалесеу и Перышкину, а Нева была передо мною. И Петропавловка, и слева — ростры Стрелки...

— Теперь по праздникам на них горит огонь.

Художник как-то дико посмотрел на меня и насутился.

Анна-Мария под села к нам, захватив бутылку и бокалы. Погладила художника ласково по руке. Рубашка на художнике была все та же, серая, с бахромой на манжетах...

— Художник должен жить легко и беззаботно, — сказал он тихо и повторил с ударением: — Легко и беззаботно! Так работали все великие итальянцы. А как пишут у нас? — Он усмехнулся и показал на меня пальцем. — У вас! Все тяжелое, безотрадное, словно душу

хотят выворотить. И с каждой такой картиной умирает художник. Не хочу!

— Микеланджело тоже писал легко и беззаботно?

Он посмотрел на меня с укором и небрежно махнул рукой. И вдруг без всякого перехода сказал:

— А жизнь здесь дурацкая. Сколько живу — не могу привыкнуть к этим тысячам! Работаете, работаете, все равно их не хватает.— Он взял путеводитель по городу, который я купил вчера днем. Перевернул его и показал цену.

— Тысяча пятьсот?

— Да...

Он снял пластмассовую обертку, подковырнул ногтем наклейку с ценой. Рука у него дрожала, и снять наклейку ему удалось не сразу. Наконец он содрал ее. Под ней стояла первоначальная цена — 1000 лир.

— Вот! В прошлом году стоил тысячу, а теперь полторы. И так во всем. Нужны комментарии? — Он небрежно бросил путеводитель на стол и поднялся.

— Я мигом. Глотну свежего ветра на набережной.

— Вы его жена? — спросил я Анну-Марию, глядя, как художник, слегка покачиваясь, идет к выходу.

— Нет. Соседка.— Она умоляюще посмотрела на меня.— Вы его не спрашивайте ни о чем. Как он попал сюда, не скучает ли... Ладно? Он все тоскует и просит, чтобы разрешили вернуться. А ему все отказывают и отказывают. А каждая встреча с русским для него болезнь. Неделя, две недели...— Она с опаской посмотрела на дверь, не возвращается ли художник.— Не будете спрашивать?

«А почему его надо жалеть? — подумал я.— Почему ни о чем не спрашивать?» Но сказал, пожав плечами:

— Конечно, не буду. Да мне и уходить пора.— Я повернул голову, отыскивая официанта, а он, заметив мое движение, уже стоял рядом. Я расплатился.

— Синьору у нас понравилось? — спросил он, приветливо улыбаясь.

— Очень.

— Мы будем всегда вам рады.

— Ариведерчи! — сказал я Анне-Марии.

— До свидания! — ответила она.— Привет Ленинграду. Думаю, мне повезет, и я побываю там. И в Москве. Сколько стоит туда дорога?

Я ответил и вышел на набережную, на знаменитый Моло. Огоньки обступили лагуну со всех сторон. Какой-то большой теплоход медленно двигался по проливу Джудекка. Покачивались на воде черные лакированные гондолы. От них веяло чем-то похоронным. Мне вспомнились строки Александра Блока:

Холодный ветер от лагуны.
Гондол безмолвные гроба.
Я в эту ночь — больной и юный —
Простерт у львиного столба.

На башне, с песнию чугунной.
Гиганты бьют полночный час.
Марк утопил в лагуне лунной
Узорный свой иконостас.

У самой воды, глядя куда-то вдаль, в темноту, стоял художник. Что он там видел, в тревожном ночном небе? То же, что и Алексей Иванович из моего далекого детства? Или что-то другое?

* *
*

Уже вернувшись домой, я как-то нашел у Врубеля такие строки, написанные в письме из Венеции: «Крылья это — родная почва и жизнь, жизнь — здесь можно только учиться, а творить — только или для услаждения международной праздности и пустоты, или для нескончаемых самоистязаний по поводу опущенной или поднятой руки...

Ах... сколько у нас красоты на Руси!»

Венеция — Москва

КРЫЛЬЯ ХУДОЖНИКА

Развернув на ветру боевые знамена, уходят за горизонт воинские дружины. Тревожны лица провожающих — стариков и детей. А на прекрасном нежном лице женщины, кажется, не отразились ни тревога, ни печаль, только руки выдают внутреннее напряжение. Но если приглядеться внимательно, вдруг понимаешь, что женщина в мыслях своих уже там, за холмами, за горизонтом, где скоро сойдутся в смертном бою с врагом ее муж, брат, отец. Это одна из последних работ художника Ильи Глазунова, посвященная Куликовской битве...

Вокруг работ Глазунова постоянно идут споры. Кто побывал на его выставках, особенно на последних — в Центральном выставочном зале Москвы, в Ленинграде, — тот видел, как увлеченно, а порой и яростно спорят зрители около его полотен. А книги отзывов? Какие полярные точки зрения встречаются в них! Но меня особенно радуют записи, подобные этим: «Большое, огромное спасибо Вам, что Вы храните и несете в своем искусстве всю красоту нашей Родины», «На выставке нет равнодушных. Она заставляет думать, спорить, соглашаться или отрицать», «Выставка заставляет задуматься над прошлым и настоящим...»

«Заставляет задуматься...» — вот в чем одна из главных причин успеха. Если бы ничего не горело, не сверкало в работах этого самобытного мастера, если бы не чувствовали люди в них живой, беспокойной мысли, страстности, нового ощущения мира, разве отозвались бы они в их душах?

Всегда, когда произносят имя большого художника, невольно возникают в памяти любимые полотна или рисунки, принадлежащие его кисти или перу. Наиболее близкие лично вам, импонирующие вашему духовному складу, отвечающие вашим представлениям о прекрасном. «Русский Икар» — распластанный над весеннею Россией человек в красной рубахе, с огромными провидящими глазами, парит передо мною, когда я слышу имя Ильи Глазунова.

Прекрасная земля, на которую через мгновение упадет дерзнувший человек. Недавно пробудившаяся от зимы, она живет ожиданием солнца. Свежий ветер гонит по реке последние льдины, скользят

к теплому морю ладьи с воинами. Но окрыленный человек видит иные картины. Вглядитесь в его глаза пророка — они вмещают Вселенную. В них отсветы будущего. Своим полетом, своей трагедией русский Икар, словно мгновенным проблеском, ярким ударом молнии на миг соединяет прошлое с будущим.

Когда-то, говоря о России, Виктор Гюго писал: «...Будущее России, столь важное сегодня для Европы, придает особую значительность ее прошлому. Чтобы верно предугадать, чем станет этот народ, следует тщательно изучить, чем он был». Глазунов всем своим творчеством ярко подтверждает мысль о том, что без прошлого нет настоящего и не может быть будущего.

...В середине мая художник закончил работу над большим и почетным заказом — панно для одного из залов штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже. На большом холсте сонм великих просветителей нашей Родины: Пушкин и Достоевский, Навои, Чюрленис, Швеченко и Руставели, Горький и Маяковский, Шостакович и Прокофьев... Огромен перечень этих людей, являющих собой гордость советского народа, этой великой общности первого в мире социалистического государства. А рядом — славные творения прошлого: «Троица» Андрея Рублева, Кремль, величественные сооружения Самарканда, Мцхеты... Над ними, в левом углу, — снова русский Икар в красной рубашке, а справа, словно олицетворение вековой мечты о полете к другим мирам, — Юрий Гагарин, доброе лицо которого стало нам навеки родным.

Стоя перед новой работой художника, я думал о том, что в жизни бывают удивительные совпадения, которые, если внимательно подойти к ним, вовсе и не совпадения, а проявление внутренних закономерностей. Мне вспомнились слова знаменитого французского ученого Элизе Реклю, автора изданного в самом начале нашего века многотомника «Человек и земля». В предисловии к русскому изданию Реклю писал:

«...Земля, так сказать, концентрируется благодаря постоянным сношениям, всевозможным формам обмена, общности идей, равновесию сил и необходимости международной солидарности.

И вы, русские, какое участие примите вы в этом широком движении, которое несет нас ко входу в новый мир?. Что будут думать о вас? Какими великими доблестями щедро наделит вас история?

Заранее можем мы ответить на это: вашей главной заслугой все должны будут признать то, что вы были наиболее гостеприимным, наиболее братолюбивым из народов.

Нация, охватившая бесконечную равнину, которая превосходными путями соединяется с другими равнинами, вы в одно и то же время обладаете и качествами оседлого земледельца, который любит землю и с нежностью возделывает ее, и свободной натурой номада, который всюду чувствует себя на родине, будь то на севере, в ледяных тундрах

Белого моря, или на юге, среди виноградников и жгучих известняков Крыма. Вы одинаково хорошо чувствуете себя в палатке или войлочной кибитке, в деревянной избе и в каменном дворце. Вы везде будете желанными гостями и всех будете принимать у себя, как друзей; ни одна национальная группа не будет содействовать столько, как ваша, нарождению нации будущего, которая произойдет от всех рас и будет говорить на всех языках. Вы будете главными деятелями в деле истинно человеческой цивилизации, зиждущейся на свободе и праве».

Один из представителей «истинно человеческой цивилизации», советский художник Глазунов, в своем панно, написанном для здания ЮНЕСКО во французской столице, словно проиллюстрировал прекрасное предвидение Элизе Реклю, так чутко, так тонко понявшего будущий ход истории.

Кстати, а почему именно Глазунов выполнял этот заказ? Почему он писал прекрасные портреты Индиры Ганди, Сальвадора Альенде, Урхо Кекконена, Федерико Феллини, Сикейроса и многих, многих других политических и общественных деятелей, знаменитых артистов, писателей, режиссеров? А совсем недавно Советское правительство передало в дар французской столице, словно проиллюстрировал его портрет работы опять же Ильи Глазунова. Почему приглашают его? Только ли потому, что он талантлив, мобилен, обладает замечательным даром общения? Я думаю, дело не только в этом. Художник Глазунов — явление, имеющее ярко выраженный национальный характер. Его работы пронизаны бесконечной любовью к России, к ее прошлому и настоящему. Некоторые из них суровы, безжалостны, но все они правдивы и выстраданы любящим сердцем. И в увлеченности Россией нет ничего от позы, от моды, она глубока и постоянна. И это сразу угадывают, чувствуют люди, знакомящиеся с творчеством Глазунова. И отсюда — глубокий интерес к нему, к человеку, в котором так полно, так прекрасно проявилась «всемирная отзывчивость», завершая формирование Глазунова как художника национального в явлении интернациональное.

Март и начало апреля 1967 года я был вместе с ним во Вьетнаме. Это было нелегкое время — бомбежки, обстрелы. Тот, кто знаком с творчеством художника, наверняка запомнил большую серию его вьетнамских работ. Девушки в остроконечных шляпах кан с автоматами в руках, руины буддийских пагод и католических храмов, зенитчики и ракетчики. С каким уважением к древней культуре Вьетнама, с какой любовью к людям, с каким проникновением в их характеры сделаны портреты вьетнамцев, как поэтичны пейзажи...

В первые дни мы ездили по стране только ночью. Американские воздушные стервятники гонялись даже за одиночными «козличками», появившимися на дорогах днем. Но художника не устраивали ночные путешествия. «Я приехал работать, — твердил он нашим

провожают, — и не могу рисовать портреты только в блиндажах. В конце концов я пережил ленинградскую блокаду, у нас за день бывало по двенадцать бомбежек!»

Это подействовало. Он рисовал руины городов Четвертой зоны — Виня, Тханкоа, солдат и рабочих Хайфона и Хонгая. Рядом с ним всегда были люди. Внимательно следили за работой художника, перебрасывались сдержанными, тихими фразами и шумно выражали свой восторг, когда портрет был закончен. С пристальным вниманием сравнивали вьетнамцы портрет с оригиналом и всегда оставались удовлетворены, удивляясь быстроте, с которой работал Глазунов. Поражали быстрота и энергия художника, неумная жажда работать. Были случаи, когда во время артиллерийского обстрела наши добрые и внимательные хозяева чуть ли не силой вводили его в укрытие.

Несмотря на постоянные поездки по стране — то в институт, укрытый среди джунглей, то к ополченцам береговой обороны, — он находил время для внимательного изучения искусства Вьетнама, восторгаясь знаменитыми лаками, древней архитектурой. В Ханое не осталось на одного музея, театра или пагоды, которые в то время были открыты, где бы не побывал художник.

Перед отъездом нас принял Первый секретарь Партии трудящихся Вьетнама товарищ Ле Зуан. Он выразил удовлетворение работой Глазунова и пригласил его после победы приехать в Южный Вьетнам.

— Вы увидите там много интересного, — сказал он.

А было начало апреля 1967 года...

Домой мы летели через Китай. В Наньине из-за плохой погоды заночевали, целый день провели в здании аэропорта, оглушенные то митингующими, то поющими хунвэйбинами. Глазунов рисовал не переставая. Каменный слоноподобный Мао среди зала и пляшущие вокруг марионетки с красными книжечками... Когда объявили посадку и мы пошли к самолету, дорогу нам преградили представители власти и хунвэйбины.

— Художник оскорбил великого председателя. Мы должны конфисковать его рисунки, — заявил офицер.

Часть рисунков мы спрятали, некоторые пришлось отдать. Большинство вьетнамских работ опубликовано в отдельном альбоме. Когда я листаю его, меня не покидает ощущение, что художник должен был прожить во Вьетнаме год, чтобы сделать все это. А ведь каждый рисунок создавался у меня на глазах. И работа заняла чуть больше месяца. Да если еще вычесть томительные часы бомбежек, артобстрелов, долгие поездки по разбитым дорогам. Поневоле вспоминается еще одна из записей в книге отзывов на выставке в Центральном выставочном зале. «Как хорошо, что этот Илья не сидел сиднем тридцать три года и три месяца». Спасибо».

В столице ГДР Берлине мне довелось увидеть, как Илья Глазунов работал в Государственном оперном театре над декорациями к «Князю Игорю».

— «Фюрст Игор!» Гросс театр!— радостно сказала дежурная в артистическом подъезде, когда я попросил пропустить меня в театр на репетицию. «Князь Игорь» — это звучало как пароль. Все в театре были воодушевлены работой над спектаклем, ставил который народный артист СССР Б. А. Покровский.

В большом темном зале были Глазунов, его жена Нина, по эскизам которой сделали около шестисот прелестных костюмов, главный художник Берлинского театра и еще несколько человек. Декорации княжеского двора на сцене были прекрасны. (Скажу сразу, что после премьеры берлинская пресса дала работе Глазунова наивысшую оценку.) А художник в тот день выглядел раздраженным.

— Друзья мои, ну что же это за земля! Это не мягкие русские холмы, а Скалистые горы. Переведите точнее!— просил он переводчицу и тут же кидался сам объяснять все по-немецки.

Потом в течение полутора часов он добивался мягкого северного освещения. А когда заявил, что задник с облаками не соответствует эскизам и никуда не годится, представитель администрации схватился за голову:

— Нет, нет, нет! Ничего уже нельзя переделать! Завтра генеральная репетиция!

Я не дождался конца спора — у меня была встреча в Союзе писателей, — но когда пришел на следующий день, облака были новые, живые, глазуновские.

— Всю ночь сам проработал в театре, — шепнул мне старший инженер сцены Большого театра Геннадий Васильевич Шевелев.

В один из дождливых вечеров мы шли по Унтер ден Линден.

— Просто погибаю, — жаловался Глазунов. — Времени нет совсем. Устал беспредельно! — Вид и правда был у него усталый. — Но нужно обязательно съездить на остров Рюген...

И он принялся рассказывать мне о том, какую видели Россию до Юрика Михайло Васильевич Ломоносов и Василий Никитич Татищев, о славянском князьях с острова Рюген, о легендарном Гостомысле, русском князе.

— Надо написать об этом книгу, но где взять время?

Я много раз замечал, что Глазунов в трагическом разладе с быстротекущим временем. Человек большой эрудиции, неиссякаемой энергии, он остро чувствует и переживает ограниченность человеческих возможностей. И он работает, работает увлеченно и в живописи и в графике, как портретист, как иллюстратор, как театральный художник и как архитектор (создал проект музея в Палехе), как педагог. Глазунов руководит мастерской портрета в Суриковском

институте. Сегодня студенты, их успехи — главная тема в разговорах с ним. Когда он говорит о своих питомцах, лицо его преображается.

— Очень талантливые люди. И громадная работоспособность. Мы снова ввели за правило рисовать гипсы. Студенты много копируют классиков. Даже Рафаэля! Это не просто «набивание руки»! Нет. Главное, как я считаю, усвоить, что и как писали великие мастера. На днях отъезжает в Ленинград на двухмесячную практику...

Многое сделал Глазунов в роли члена Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории культуры. О том, какой размах получила деятельность этого общества, есть большая доля труда художника.

«Социализм наследует все лучшее, что создается в долгой истории развития национальной и мировой культуры, и ставит эти богатства на службу народу, — писал Леонид Ильич Брежнев в письме венгерской народной писательнице Палне Мартон. — Овладение культурным наследием — это очень важное, нужное и полезное дело».

Илья Глазунов страстно увлечен этим патриотическим делом. Казалось бы, художник, создавший большие циклы картин, посвященных славному прошлому нашей Родины, вполне мог удовлетвориться такой формой своего участия в работе общества. Но Глазунову — яркому, глубокому пропагандисту национальных традиций в искусстве — этого мало. Проявление его таланта и энергии всегда разносторонне — он выступает в защиту обреченного на слом памятника архитектуры, изучает возможность реставрации подмосковной усадьбы, организует выставку фотографий древней архитектуры.

«И что мешает нам, наконец, превратить наши древнерусские города в центры мирового и отечественного туризма? Ведь речь идет о воспитании патриотизма и гордости за нашу великую культуру. Патриотизм и эстетическое воспитание нераздельны. Нехозяйственное, преступное отношение к памятникам, еще, к сожалению, имеющее место у нас, лишает нас также огромных экономических доходов, связанных с развитием туризма. А ведь нам есть что показать! — писал Глазунов в одну из газет еще в 1967 году, когда Общество по охране памятников только начинало свою деятельность. — Не следует ли превратить Ростов Великий в центр молодежного туризма, создать гостиницы, проводить праздники русской былины и сказки, фестивали народного костюма, патриотические мистерии на темы нашей героической истории и боевой славы!»

В последние годы много и вдохновенно работает художник над циклом картин о Куликовской битве. Это не только дань юбилею — шестисотлетию — это внутренняя его потребность, глубокое преклонение перед подвигом предков.

...Охвачена пламенем русская земля по всему горизонту за спинами Дмитрия Донского и Сергея Радонежского на полотне «Канун». Но

в глазах воина и монаха читаешь и волю к победе, и самоотречение, и приговор врагу... Широко известны картины этого цикла «Гонец», «Перед битвой», «Дмитрий Донской» и другие.

Родина, ее прошлое и настоящее, светлые дни мира, суровые, а подчас и горькие минуты войны, духовный облик народа — вот стержень творчества Ильи Глазунова, яркого и щедрого и в своей любви и в своей ненависти. Кому-то может не нравиться, как написана та или иная из его картин, кого-то шокирует настоящий кинжал, прикрепленный к полотну «Легенда о царевице Димитрии». Но взгляните повнимательнее в работы Глазунова. Вы почувствуете — не можете не почувствовать — живую мысль художника, вам станет понятно его настроение.

В письмах кого-то из мастеров прошлого я читал о том, какую большую радость доставляют ему работы прочувствованные. Наверное, определение не слишком профессиональное, но уж коли им воспользовался художник, тем более простительно журналисту. Так вот — работы Глазунова представляются мне именно прочувствованными, изображены ли на них сюжеты современные или из глубокого прошлого.

«Чувства слабо затронуты, если они позволяют рассуждать о средствах их возбуждения». Эти слова давно стали аксиомой. Неоспоримое достоинство картин Ильи Глазунова — их духовность. Когда я всматриваюсь в них, посещая выставки или листая альбом с репродукциями, я всегда сопереживаю им, у меня всегда возникает ответное чувство. Мне становится страшно, когда я вижу стылые глаза голодного мальчика в картине «Блокада», я почти физически ощущаю, как начинает согревать весеннее солнце старую женщину на картине «Весна». Светло и тихо становится на сердце, когда всматриваешься в чудный зимний пейзаж «Ферапонтово», легко и лирично звучит разряженная серо-голубая светящаяся тишина «Белых ночей».

А вот «Два князя», уже находящиеся в Третьяковской галерее. Мужчина и мальчик на крутом берегу. Холодный вечер, низкие, тревожные облака несутся по небу. Даже если бы не полыхало запальное врагами зарево за свинцовой гладью реки, от картины все равно веет бедой. Страшной бедой, надвинувшейся на русскую землю.

От портрета Веры, дочери художника, трудно оторвать взгляд. Так нежно, с такой любовью и одухотворенностью написана девочка, что чудится, будто ты ловишь ее ответную реакцию на свой взгляд, чудится, будто между нами идет немой диалог.

Картины Глазунова лишены статичности, они всегда живут. В них вся гамма человеческих чувств — любовь, ненависть, тревога, тоска, усталость, смертельный ужас, радость, тихая грусть. И поэтому в каждой — правда.

Народному художнику СССР, академику Мадридской и Барселонской академий художеств Илье Сергеевичу Глазунову пятьдесят лет. Без тени преувеличения можно сказать, что вот уже более двадцати из них — с того момента, когда в Центральном Доме работников искусств в 1957 году прошла первая выставка его работ,— он оказывает большое влияние на художественную жизнь в нашей стране. Двадцать с лишним лет — огромный срок, и стойкий, непреходящий интерес к его творчеству говорит о многом. Но чтобы понять причины популярности художника, недостаточно сослаться на отмеченные ярким психологизмом портреты, на его прекрасные иллюстрации к Достоевскому и Блоку, на картины из циклов «Город», «Вечная Россия». Недостаточно сказать о глубине философского обобщения, о таланте. Илье Глазунову присущи все слагаемые успеха, о которых мы сказали выше. Но есть у мастера еще одна особенность. «Всякого великого писателя можно сразу узнать из того, что он направляет наш ум далеко от себя самого,— писал создатель школы прерафаэлитов английский мыслитель Джон Рёскин,— к той красоте, которая не есть его создание, к тому знанию, которое выше его разумения.

Но разве может быть иначе с живописью?..»

Пожелаем же художнику новых творческих взлетов, твердой руки и острого глаза. Его крылья — Родина. А это надежные крылья.

СОДЕРЖАНИЕ

Гостья	3
Реки Вавилона	33
Венеция, вид с Моло	42
Крылья художника	55

Сергей Александрович Высоцкий

РЕКИ ВАВИЛОНА

Редактор М. М. Жигалова.

Технический редактор Е. Н. Щукина.

Сдано в набор 03.12.80. Подписано к печати
29.01.81. А 00324. Формат $70 \times 108^{1/32}$. Бумага
газетная. Гарнитура «Школьная».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80. Учетно-
изд. л. 4,07. Тираж 100 000 экз. Изд. № 289.
Зак. № 3430. Цена 25 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. 125865. ГСП, Москва, А-137,
ул. «Правды», 24.

Цена 25 коп.

Индекс 70668



ТОВАРИЩИ КНИГОЛЮБЫ!



Книгу можно не только купить, но и приобрести по выигрышному билету Всероссийской книжной лотереи. Стоимость билета 25 копеек, а сумма выигрышей от 50 копеек до 5 рублей.

На каждые 200 билетов—69 выигрышных.

По выигрышному билету можно получить книгу или другие товары по своему выбору из ассортимента любого книжного магазина или киоска на территории РСФСР. Участвуйте в розыгрыше билетов Всероссийской книжной лотереи!



Дирекция Всероссийской книжной лотереи

